

# ГРЭМ ГРИН

Грэм Грин

Десятый

Часть первая

1

Время суток определяли в бараке главным образом по тому, когда приносили еду, хотя на самом деле их кормили нерегулярно, когда придется; они коротали дни за немудрящей игрой, а с наступлением темноты по общему молчаливому уговору укладывались и засыпали — не заботясь о точном времени, потому что точного времени все равно никто не знал; в сущности, у каждого заключенного время было свое. Сначала, когда их только схватили, у них имелось на тридцать два человека трое верных часов да еще старый, чиненый будильник, по мнению остальных часовладельцев, никуда не годный. Первыми недосчитались двух наручных часов: их обладателей однажды утром ровно в семь — а по будильнику в десять минут восьмого — увели из барака. Потом, немного спустя, часы появились снова, но уже на запястьях у двух охранников.

Таким образом, остались только будильник и большой серебряный брегет на цепочке — его носил в жилетном кармане мэр города Буржа. А хозяином будильника был паровозный машинист Пьер. Между ними завязалось соперничество. Эти двое считали, что время принадлежит им, а остальным двадцати восьми узникам — нет. Но времени-то было два, и каждый из них с невероятной страстью отстаивал свое. Эта страсть выделяла их среди товарищей, и в любое время суток их можно было видеть сидящими бок о бок где-нибудь в углу барака — большого бетонного сарая; они даже ели вместе.

Но однажды мэр забыл завести свой брегет: был день шепотов, накануне ночью со стороны города слышались выстрелы, как и в тот раз, когда увели двоих с наручными часами; и у каждого в мозгу сгустилось слово «заложник», будто черная туча, по прихоти ветра принявшая вид надписи. В тюрьме чего только не вообразишь — мэра и машиниста еще больше сплотила мысль, что немцы, может быть, нарочно выбирают тех, у кого часы, чтобы лишить людей понятия о времени. Мэр даже предложил было сокамерникам спрятать последние двое часов — пусть останутся товарищам, — но, высказанная вслух, эта мысль оказалась очень уж похожей на трусость, и он не договорил, оборвав на полуслове.

Как бы то ни было, но мэр забыл завести брегет. Проснувшись утром, он в первом свете зари привычно взглянул на циферблат.

— Ну, сколько там на ваших антикварных? — спросил Пьер.

Но черные бесполезные стрелки застряли, как сломанные, на трех четвертях первого. Мэру показалось, что это самая ужасная минута в его жизни, гораздо ужаснее даже той, когда он был арестован. В тюрьме все воспринимается искаженно, и чувство пропорции утрачивается в первую голову. Он обвел сокрушенным взглядом лица соседей, ощущая себя предателем,

который уступил врагу единственно верное время. Хорошо хоть, здесь нет никого из Буржа, подумал он. Был парикмахер из Этена, трое мелких служащих, шофер грузовика, зеленщик, табачник, — все, кроме одного, ниже его по социальному положению, и хотя он чувствовал себя в ответе за них, зато полагал, что их легче будет обмануть, и так все-таки лучше, говорил он себе, пусть они верят в то, что у них по-прежнему есть надежный указатель времени, а не полагаются на свои неорганизованные, слепые догадки да на старый, чиненый будильник.

Наскоро прикинув по серому небу за решеткой, мэр твердо ответил:

— Двадцать пять минут шестого.

И встретил внимательный взгляд того единственного соседа по бараку, с чьей стороны мог опасаться разоблачения, — парижского адвоката Шавеля, застенчивого нелюдима, который лишь иногда делал неуклюжие попытки доказать остальным, что он такой же человек, как все. Для них он был фигурой диковинной, даже смешной: в обыденной жизни адвокаты не водятся, это такие большие куклы, которых достают из сундука в особых случаях; а тут адвокат в тюрьме и без черной мантии.

— Вздор, — отозвался Пьер. — Что это случилось с музейной редкостью? Уже без четверти шесть.

— Штампованные будильники всегда спешат.

И тут адвокат, очевидно по привычке к точности, возразил:

— Вчера вы говорили, что будильник отстает.

С этой минуты мэр возненавидел Шавеля. Они с Шавелем были единственные в бараке люди с положением, и уж он бы, мэр, никогда бы Шавеля так не предал. Наверное, у того есть свои причины, какие-то скрытые и, возможно, постыдные побуждения. И хотя адвокат почти все время молчал и ни с кем не дружил, мэр сказал себе: «Зарабатывает популярность. Думает, что ему здесь все будут подчиняться. В диктаторы лезет».

— Давайте-ка я взгляну, что там с вашей реликвией, — протянул руку Пьер. Но часы были надежно прикованы к жилету мэра серебряной цепочкой с печатками и брелоками — не оторвешь. И мэр мог позволить себе надменно пожать плечами.

Но тот день навсегда остался в его личном календаре черным днем ужасных волнений — наряду с такими, как день его свадьбы, рождения первенца, муниципальных выборов, кончины жены. Надо было как-то ухитриться завести брегет, хотя бы приблизительно переставить стрелки и чтобы никто не заметил; а парижский адвокат, как на грех, кажется, весь день не спускал с него глаз. Впрочем, завод не представлял особого труда, ведь идущие часы тоже требуется заводить — завести сначала до половины, а потом, среди дня, словно бы в рассеянности, еще немного подкрутить.

Но Пьер и это сразу углядел.

— Вы что же делаете? — подозрительно поинтересовался он. — Вы ведь их уже заводили. Сломались, что ли, ваши антикварные?

— Я задумался, — объяснил мэр; но на самом деле ум его лихорадочно работал. Перевести стрелки — это была задача потруднее. Уже больше чем полдня они тащились за стрелками будильника с разрывом в добрых пять часов. Тут даже зовом природы нельзя было воспользоваться. Уборными служили ведра, выставленные в ряд во дворе, и для удобства охраны по одному туда не выпускали, только группами не меньше чем по шесть человек. И

дождаться ночи не имело смысла: свет в бараке не зажигали, а в темноте стрелок не разглядеть. При этом надо было неотступно держать в уме приблизительное время, чтобы при первой же возможности сразу поставить стрелки более или менее правильно.

Наконец уже к вечеру в бараке вспыхнула ссора из-за детской карточной игры наподобие «пьяницы» — некоторые резались в самодельные карты целые дни напролет. Все глаза устремились на ссорящихся, и в это мгновение мэр вынул из кармана брегет и быстро перевел стрелки.

— Который час? — неожиданно спросил адвокат.

Мэр вздрогнул, будто выступал свидетелем в суде и вдруг услышал каверзный вопрос; адвокат смотрел на него, и лицо у парижанина было, как обычно, растерянное и несчастное — лицо человека, который не вынес из своего прошлого ничего, на что можно было бы опереться теперь в страшную минуту.

— Двадцать пять минут шестого.

— Мне казалось, что позже.

— По моему времени так, — отрезал мэр. Действительно, это было его время, и никакой ошибки тут отныне быть не могло, он ведь сам его выдумал.

## 2

Луи Шавель не понимал, за что мэр его ненавидит. Но что ненавидит, знал точно: вот такой же ненавидящий взгляд он нередко встречал в суде у свидетелей и арестантов. Теперь, сам оказавшись арестантом, он все никак не мог приспособиться к новой точке зрения и, делая робкие попытки к сближению с соседями, терпел неудачу, потому что их считал настоящими природными арестантами, которые рано или поздно все равно должны были попасть в тюрьму за кражу, мошенничество, изнасилование, между тем как он — арестант по ошибке. При этом естественно было бы им с мэром держаться заодно, нельзя же мэра отнести к природным арестантам; хотя ему помнилось дело о подлоге где-то в провинции, в котором был замешал местный мэр; он сделал было какие-то первые неловкие шаги и был удивлен и озадачен, натолкнувшись на открытую неприязнь.

Другие обходились с ним вполне дружелюбно, всегда отвечали, когда он к ним обращался, хотя сами не заговаривали, разве что могли пожелать доброго утра. И вскоре его стали ужасать эти приветствия в тюремных стенах. «Доброе утро!» — говорили ему или: «Добрый вечер!» — словно встречные на улице по пути в суд. А на самом деле они все вместе были заперты в бетонном сарае тридцати пяти футов в длину и семнадцати в ширину.

Первую неделю он изо всех сил старался вести себя как настоящий арестант, сумел даже ввязаться в карточную игру, однако оказалось, что карты ему не по средствам. Денег он бы не пожалел, но те несколько банкнотов, которые у него не отобрали при аресте, представляли богатство за пределами возможностей его партнеров, а их ставки были за пределами его возможностей. Они играли, например, на пару носков, и проигравший в ожидании реванша напяливал ботинки на босу ногу. А адвокат боялся утратить любую мелочь из того, что характеризовало его как человека приличного, с положением, владеющего собственностью. Он отказался от карт, хотя ему в общем-то везло, он даже выиграл жилетку с оторванными пуговицами. Потом, когда стемнело, он возвратил ее владельцу и тем окончательно уронил себя в их глазах. Но они не осуждали его за отсутствие вкуса к настоящей игре, он ведь

юрист, что с него взять?

В бараке у них было теснее, чем на самой людной городской площади, и Шавель постепенно усвоил тот урок, что в людской толчее можно быть невыносимо одиноким. Он утешал себя, что каждый день приближает конец войны, рано или поздно кто-нибудь да одержит победу, кто именно, ему уже становилось безразлично, лишь бы конец. Он был заложником, но мысль о том, что заложников расстреливают, почти не приходила ему в голову. Смерть двух сокамерников принесла лишь минутное потрясение; растерянный и подавленный, он как-то не осознавал, что и его тоже могут завтра вывести из переполненного сарая. Человек в толпе одинок, зато незаметен, спрятан.

Но как-то раз тоска по прошлому, потребность убедить себя, что была какая-то прежняя жизнь, из которой он вышел и в которую еще вернется, одолела его и заставила заговорить. Шавель пересел на другое место, рядом с одним из мелких служащих, тощим молчаливым юнцом, которому в бараке дали странное прозвище — Январь. Может быть, среди его товарищей по заключению нашелся кто-то, кто разглядел в нем юное, неразвившееся существо, без времени загубленное морозом?

— Январь, — обратился к нему Шавель, — вам приходилось когда-нибудь путешествовать по Франции?

Характерно для юриста, что, даже делая попытку вступить в общение с ближним, он начал с вопроса, словно допрашивал свидетеля.

— Да нет, я из Парижа ни ногой, — ответил Январь, потом напряг мысли и добавил: — В Фонтенбло вот был. Жил там одно лето.

— Вы не знаете такого города — Бринак? Туда ехать с Западного вокзала.

— Слыхом не слыхивал, — хмуро ответил молодой человек, словно его в чем-то обвиняли, и зашелся в долгом сухом кашле — будто горошины раскатились по дну кастрюли.

— Ну, тогда вы не знаете и нашу деревню — Сен-Жан-де-Бринак. Это примерно в двух милях к востоку от города. Там мой дом.

— Я думал, вы парижанин.

— Я служу в Париже, — объяснил Шавель. — А когда уйду на пенсию, буду жить в Сен-Жане. Этот дом достался мне в наследство от отца. А ему — от его отца.

— Кем был ваш отец? — без особого любопытства спросил Январь.

— Адвокатом.

— А его отец?

— Тоже адвокатом.

— Кому что нравится, — пожал плечами маленький конторщик. — По мне, так это не работа, а тоска зеленая.

— Если у вас найдется клочок бумаги, — продолжал Шавель, — я бы нарисовал вам план дома и сада.

— Не найдется, — ответил Январь. — Да и незачем. Ваш дом, не мой.

И снова закашлялся, сжимая костлявыми пальцами колени. Словно кончил разговор с

просителем, которому, к сожалению, ничем, ровно ничем не может быть полезен.

Шавель отошел. Он остановился возле Пьера и спросил, который час.

— Без пяти двенадцать.

Рядом с ним мэр возмущенно пробурчал:

— Опять отстают.

— Я полагаю, по роду вашей профессии, — сказал Шавель, обращаясь к машинисту, — вам пришлось повидать разные места?

Вопрос прозвучал фальшиво-фамильярно, как при перекрестном допросе, когда адвокат собирается поймать свидетеля на лжи.

— Да как сказать, — неопределенно ответил Пьер.

— Вы случайно не знаете такой станции — Бринак? Примерно в часе езды с Западного вокзала.

— Никогда на этой линии не работал, — сказал Пьер. — Мой вокзал — Северный.

— А-а. Ну тогда вы, конечно, не знаете деревни Сен-Жан...

Отчаявшись, Шавель отошел и снова сел в стороне от всех у холодной бетонной стены.

А ночью опять, в третий раз, была слышна пальба: короткая пулеметная очередь, рассыпные выстрелы из винтовок и потом что-то вроде взрыва гранаты. Заключенные лежали вповалку на земляном полу и молча прислушивались. Никто не спал. Ждали. И трудно было сказать, чего было больше в этом ожидании: боязни или радостного облегчения, как у постели больного, который долго лежал пластом, но вот наконец зашевелился, и, значит, дело пошло на поправку. Шавель тоже затаился вместе со всеми; он не испытывал страха: здесь он надежно спрятан, его не найдут. А мэр обхватил себе грудь руками, прикрывая жилетный карман с брегетом, чтобы не так громко слышен был его ровный старинный ход: «тик-так-тик!»

3

Назавтра в три часа дня — по показаниям будильника — в барак пришел офицер, первый офицер за многие недели заключения; он оказался совсем молодой, неопытность видна была даже в том, как он неодинаково подбрил себе усики — с левой стороны больше, чем с правой. Он смущался, словно школьник в актовом зале, впервые вызванный для получения награды, и говорил отрывисто, чтобы произвести впечатление силы, которой у него на самом деле не было. Он сказал:

— Минувшей ночью в городе были совершены убийства. Погибли помощник военного коменданта, ефрейтор и велосипедистка. — Он добавил: — Женщина нас не интересует, мы не запрещаем французам убивать француженок. — Его речь была явно заготовлена заранее, но с иронией он перебрал, и вообще исполнение было любительское — он точно играл с ними в шарады. Он продолжал: — Вы знаете, для чего находитесь здесь, живете с удобствами, на хороших пайках, когда наши ребята терпят лишения и воюют. Так вот, теперь вам придется платить по счету. Нас не вините. Вините своих убийц. Я отдал приказ

расстрелять каждого десятого заключенного в этом лагере. Сколько вас здесь? Р-рассчитайся! — выкрикнул он. И они понуро подчинились.

«...Двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый». Все понимали, что он знает и без расчета. Очевидно, так требовалось по шараде. Он сказал:

— Итак, от вас — трое. Кто именно, нам совершенно безразлично. Выбирайте сами. Начало похоронной церемонии — завтра в семь часов утра.

Вот и вся шарада; они слышали, как он протопал за стеной, чеканя шаг по асфальту. Шавель даже задумался на минуту, какая часть шарады тут игралась: «ночь», «женщина» или, может быть, «тридцать»? Впрочем, вернее всего, изображалось целое: «заложник».

Потянулась тишина. Потом эльзасец по фамилии Крог произнес:

— Сами, что ли, будем вызываться?

— Вздор, — ответил пожилой служащий в пенсне. — Зачем же вызываться. Устроим жеребьевку. — И добавил: — Хотя можно отбирать по возрасту — старшие вперед.

— Нет, нет, — возразил кто-то. — Так несправедливо.

— Зато естественно: закон природы.

— Какой там закон природы, — отозвался кто-то третий. — У меня вон дочка умерла пяти лет...

— Только жребий, — решительно сказал мэр. — Это — единственно справедливый способ.

— Он по-прежнему сидел, обхватив руками грудь, прикрывая карман с часами, однако по всему бараку раздавалось их мерное, настырное тиканье. — Но только бессемейные, — добавил он. — Тех, у кого семья, надо исключить. На них ответственность...

— Ха-ха! Ишь какой хитрый, — отозвался Пьер. — Почему это семейным поблажка? Их ответственность кончилась. Сами-то вы, конечно, человек женатый?

— Я потерял жену, — ответил мэр. — И теперь одинок. А вы?

— Женат, — буркнул Пьер.

Мэр принялся отстегивать цепочку своего брегета: один, без соперника, он как единственный обладатель времени чувствовал себя обреченным. Обведя глазами лица соседей, он остановился на Шавеле — вероятно, потому, что тот был в жилете и ему было куда пристегнуть часы. Мэр сказал:

— Мсье Шавель, не могли бы вы взять мои часы, на случай если...

— Попросите лучше кого-нибудь другого, — ответил Шавель. — Я холост.

Снова заговорил пожилой служащий. Он сказал:

— Я женат, поэтому имею право говорить. Все это неправильно. Жребий надо бросать на всех. Нам, может быть, еще не раз придется прибегать к жребию, и представьте себе, что за жизнь будет у нас в бараке, если среди нас появятся привилегированные — те, кому обеспечена неприкосновенность. Вы, все остальные, возненавидите нас. Ваш страх не будет нашим страхом...

— Он прав, — сказал Пьер.

Мэр снова пристегнул свой брегет.

— Как хотите, — вздохнул он. — Но если бы и налоги взимали по этому же принципу...

Он сокрушенно развел руками.

— Каким способом будем решать? — спросил Круг.

— Самый быстрый — доставать бумажки из ботинка, — предложил Шавель.

Круг презрительно оборвал его:

— На что нам самый быстрый? Для кого-то из нас это будет последняя в жизни игра. Хоть удовольствие получим напоследок. По-моему, бросать монету.

— Не годится, — сказал служащий. — Монета не дает равных шансов.

— Нет, только тянуть своими руками, — изрек мэр.

Пожилой служащий пожертвовал для жребия письмо из дома. Торопливо перечитал в последний раз и порвал на тридцать клочков. Три клочка пометил крестами, а потом все тридцать скрутил в трубочки.

— У Круга самый большой ботинок, — сказал он.

Бумажки перемешали на полу и покидали в ботинок Круга.

— Тянем в алфавитном порядке, — распорядился мэр.

Шавель больше не чувствовал себя надежно спрятанным среди толпы. Ему мучительно хотелось выпить. Пальцы сами тербели сухую кожу на губе.

— Что ж, пожалуйста, — сказал шофер грузовика. — Кто-нибудь есть раньше Вуазена? Ну, поехали.

Он сунул руку в ботинок и долго шарил, словно искал какую-то определенную бумажку. Вытащил, развернул, посмотрел, как бы не веря собственным глазам. Проговорил: «Она» — и сел, на ощупь достал сигарету, но, взяв ее в рот, забыл прикурить.

Шавеля наполнила огромная, стыдная радость. Он считал, что спасен: осталось двадцать девять человек и всего две меченые бумажки. Его шансы сразу возросли: только что было десять против одного, и вот уже четырнадцать против одного; вторым тянул зеленщик, он с равнодушным видом показал товарищам пустую бумажку. Вообще, сразу же установилось, что никакие выражения радости не допускаются, нельзя же потирать руки на глазах у обреченных.

И снова тоскливое беспокойство — хотя еще и не страх — стало расширять свои владения в душе Шавеля. Сперло грудь; когда шестой человек вытянул пустую бумажку, началась нервная зевота, а когда дошло до десятого — это был юнец Январь — и шансы снова стали такими же, как вначале, он почувствовал, что к сердцу подбирается словно бы глухая обида. Одни хватали первую попавшуюся бумажку, другие, быть может, из опасения, что злой рок навязывает им свой выбор, взяв бумажную трубочку, тут же снова выпускали ее из пальцев и выбирали другую. Время тянулось невозможно медленно; человек по фамилии Вуазен один сидел у стены с незажженной сигаретой во рту и ни на кого не обращал внимания.

Шансы уже упали до восьми против одного, когда пожилой служащий — его фамилия оказалась Ленотр — вытянул вторую метку. Он откашлялся и нацепил пенсне, как будто



желая удостовериться, что не ошибся.

— Э-э, мсье Вуазен, позвольте к вам присоединиться, — проговорил он и неуверенно улыбнулся.

На этот раз Шавель никакой радости не испытал, хотя шансы его на минуту снова подскочили до небывалой высоты: пятнадцать против одного. Но ему было стыдно перед храбростью простых людей. Скорее бы уж все кончилось. Как в карточной игре, которая чересчур затянулась, и ждешь, чтобы кто-нибудь сделал наконец последний ход. Ленотр, сидя у стены рядом с Вуазеном, перевернул свою бумажку обратной, исписанной стороной.

— От жены? — спросил Вуазен.

— От дочери, — ответил Ленотр. — Прошу извинения.

Он отошел туда, где лежала его скатанная постель, достал блокнот и, снова усевшись рядом с Вуазеном, стал писать аккуратным, без нажима, разборчивым почерком. Шансы уже снова были десять против одного. С этой минуты шансы Шавеля неумолимо устремились вниз, как перст указующий: девять против одного, восемь против одного. Те, кому еще осталось тянуть жребий, вынимали свои бумажки не мешкая и отходили, они словно располагали какими-то секретными сведениями и знали, что избран — он. Когда подошла его очередь, в ботинке белели всего три бумажки, и такой ограниченный выбор показался ему чудовищной несправедливостью. Он вынул было одну, но, решив, что его рукой двигало внушение стоявших рядом и что именно эта бумажка как раз и помечена крестом, бросил ее и схватил другую.

— Подсмотрел, законник! — крикнул один из двоих оставшихся.

Но второй на него шикнул:

— Ты что? Ему вон теперь крест достался.

4

Ленотр позвал:

— Идите сюда, мсье Шавель, садитесь с нами.

Словно приглашал занять место на банкете за столом для почетных гостей.

— Нет, — сказал Шавель. — Нет.

Он швырнул свой жребий на пол и закричал:

— Я не соглашался на жеребьевку! Вы не заставите меня умереть за вас...

На него смотрели изумленно, но не враждебно. Он был не их поля ягода. К нему не подходили мерки, по каким они судили друг друга. Он принадлежал к другому, непонятному роду людей, и поначалу они даже не связали его поведение с трусостью.

Крог сказал ему:

— Сядьте и отдохните. Можно больше ни о чем не беспокоиться.

— Вы не имеете права, — спорил Шавель. — Это абсурд. Немцы не согласятся. Я владею собственностью...

— Не расстраивайтесь понапрасну, мсье Шавель, — посоветовал Ленотр. — Не в этот раз, так в следующий...

— Вы не можете меня заставить, — повторял Шавель.

— Не мы вас заставляем, — сказал Крог.

— Послушайте, — умоляюще проговорил Шавель. Он подобрал и протягивал им свой жребий, а они наблюдали за ним с сочувствием и любопытством. — Даю сто тысяч франков тому, кто возьмет вот это.

Он вел себя как безумный, он словно в буквальном смысле был вне себя — другой, невидимый, спокойный Шавель незаметно стоял тут же, но в стороне, слышал его дикое предложение, следил за тем, как его тело принимает позорные позы страха и мольбы, и шептал, забавляясь: «Отличный спектакль, старина. Поддай еще жару. Тебе бы актером быть, ей-богу. А что, мало ли. Вдруг клюнет».

Он мелкими шажками перебегал от одного к другому и протягивал каждому обрывок бумаги, будто продавал его с аукциона.

— Сто тысяч франков, — умоляюще твердил он, а они смотрели на него с брезгливой жалостью: он был среди них единственный богатый человек, исключительная личность. Им не с кем было его сравнивать, и они решили, что такое поведение характерно для людей его класса, как путешественник, сойдя с парохода в чужом порту, раз навсегда составляет себе мнение о местных жителях по ухваткам выжиги, с которым ему случилось пообедать за одним столиком.

— Сто тысяч франков! — заклинал он.

А другой Шавель, циничный и спокойный, у него за плечом шепнул: «Повторяешься, друг. Стоит ли мелочиться. Предложил бы им все, чем владеешь».

— Успокойтесь, мсье Шавель, — посоветовал ему Ленотр. — Подумайте сами: ну кто согласится променять жизнь на деньги, которыми не сможет воспользоваться?

— Отдаю все, что у меня есть, — прерывающимся от волнения голосом произнес Шавель, — деньги, поместье, все. Сен-Жан-де-Бринак...

Ваузен раздраженно сказал:

— Умирать никому не хочется, мсье Шавель.

А Ленотр повторил тоном возмутительного самодовольства (как показалось доведенному до отчаяния Шавелю):

— Успокойтесь, успокойтесь, мсье Шавель.

У Шавеля пресекся голос.

— Отдаю все, — просипел он.

Им, наконец, это надоело. Снисходительность и терпимость — вопрос нервов, а нервы у всех были напряжены.

— Сядьте! — рявкнул на него Крог. — И заткнитесь.

Но и тогда Ленотр, подвинувшись, дружески похлопал по земле рядом с собою.

«Не выгорело, — шепнул второй, спокойный Шавель. — Хана, брат. Мастерства не хватило. Попробуй изобрести что-нибудь еще...»

И тут чей-то голос проговорил:

— Расскажите-ка поподробнее. Может, я куплю.

Это сказал Январь.

5

А Шавель на самом деле не ожидал, что кто-то отзовется на его предложение, им двигала не надежда, а истерика, и теперь он сначала подумал, что над ним издеваются.

Он еще раз повторил:

— Все, что у меня есть.

Но его истерика иссохла и отпала, как струп, и обнажилось чувство стыда.

— Не смейтесь над ним, — сказал Ленотр.

— Я и не смеюсь. Говорю же — я покупаю.

Стало тихо, соседи по бараку растерялись и не знали, что подумать. Как передать другому все, чем владеешь? Они смотрели на Шавеля, наверно ожидая, что он начнет выворачивать карманы. Шавель спросил:

— Вы займете мое место?

— Да, я займу ваше место.

Крог раздраженно заметил:

— Какой ему тогда прок от этих денег?

— Я ведь могу оставить завещание, правда?

Буазен вдруг выдернул изо рта незажженную сигарету и швырнул об пол.

— Не нравится мне эта лавочка, — громко сказал он. — Пусть все идет как идет. Мы вот с Ленотром не можем выкупить свою жизнь, так? Почему же ему можно?

— Успокойтесь, мсье Буазен, — пробормотал Ленотр.

— Несправедливо, — настаивал тот.

Большинство заключенных разделяли мнение Буазена. Когда Шавель закатил истерику, они отнеслись к нему со снисхождением: в конце концов, смерть — это не шутка, и не приходится ожидать от богатого человека, что он будет вести себя как все, народ этот по большей части хлипкий; но теперь дело приняло другой оборот. Получается несправедливо, как правильно говорит Буазен. Сохранял спокойствие один Ленотр: он всю жизнь проработал делопроизводителем в конторе и не раз наблюдал со своего табурета, как люди заключают

несправедливые сделки.

Но в спор вмешался Январь:

— То есть как это несправедливо? Моя добрая воля, и никто не может мне препятствовать! Да вы бы все рады стать богачами, только кишка тонка. А я увидел свой шанс и не проворонил. Я умру богатым человеком, ясно? И пусть подавится, кто говорит, что это несправедливо.

В груди у него снова раскатился сухой горох.

И все споры прекратились — Январь уже распорядился, как один из сильных мира сего; прямо на глазах менялся вес людей, словно сдвигались большие гири: тот, кто только что был имущим, опускался, чтобы стать таким, как они, а у Января голова ушла в темные заоблачные выси богатства. Он властно позвал:

— Идите сюда. Сядьте вот тут.

Шавель подчинился и подошел, сутулясь от стыда за свою победу.

— Вот что, — сказал Январь. — Вы адвокат и давайте пишите все по форме. Что у вас там есть? Денег сколько?

— Триста тысяч франков. Точной цифры не могу вам назвать.

— А этот дом, что вы рассказывали? Сен-Жан...

— Дом и шесть акров земли.

— Земля собственная или арендованная?

— Собственная.

— В Париже где живете? У вас там тоже дом?

— Снимаю квартиру.

— Мебель своя?

— Нет... Только книги.

— Вы садитесь. Составьте мне... эту... как ее?... дарственную.

— Хорошо. Но мне нужна бумага.

— Можете вырвать из моего блокнота, — предложил Ленотр.

Шавель сел рядом с Январем и начал писать: «Я, Жан-Луи Шавель, адвокат, проживающий в Париже, ул. Миромениль, 119, и в Сен-Жан-де-Бринаке... все акции и облигации, деньги на моем счете... всю мебель и движимое имущество... и земельное владение в Сен-Жан-де-Бринаке...»

Тут он сказал:

— Нужны два свидетеля.

Одним сразу же по привычке вызвался Ленотр — с готовностью, как, бывало, возникал на пороге кабинета по звонку хозяина.

— Нет уж, — грубо ответил ему Январь. — Мне нужны живые свидетели.

— Может быть, вы? — предложил Шавель мэру просительным тоном, словно дарственная оформлялась на его имя.

— Документ такой необычный, — засомневался мэр. — Прямо не знаю, может ли человек в моем положении...

— Тогда я подпишу, — сказал Пьер и размашисто расписался ниже Шавеля.

— Тут нужен свидетель понадежнее, — проворчал мэр. — Этот человек за рюмку спиртного засвидетельствует что угодно.

И втиснул свою фамилию в промежутке между подписями Шавеля и Пьера. Пока он писал, пригнувшись над блокнотом, им было слышно, как тикает у него в жилетном кармане старый брегет, отмеривая последние минуты перед наступлением темноты.

— А теперь завещание, — приказал Январь. — Пишите: все, что у меня есть, матери и сестре в равных долях.

Шавель сказал:

— Это недолго написать, одна фраза — и все.

— Ну нет, — горячась, возразил Январь. — Вы напишите тут снова все: про акции и облигации, и про деньги в банке, и про земельную собственность... Им же надо будет показать соседям, чтобы знали, что я за человек.

Документ был составлен, и Круг с зеленщиком скрепили его своими подписями.

— Бумаги возьмите себе вы, — сказал Январь мэру. — Может быть, немцы позволят их отослать, когда покончат со мной. А если нет, вы должны будете их сохранить до конца войны... — Он закашлялся, бессильно откинувшись к стене сарая. А потом произнес: — Я — богатый человек, я всегда знал, что буду богатым.

Свет постепенно уходил из барака, скатываясь в рулон, как ковер с пола. Сумрак скрыл кашляющего юнца, но пожилому соседу Вуазену еще хватало света для письма. В бараке воцарилась зловещая тишина — страсти утихли, и говорить больше было не о чем. Брегет и будильник невпопад отбивали шаг навстречу ночи. Когда совсем стемнело, Январь начальственно подозвал его, словно слугу:

— Шавель!

Шавель послушно подошел.

— Расскажите о моем доме.

— Он находится в двух милях от деревни.

— Сколько там комнат?

— Большая комната, мой кабинет, гостиная, пять спален, приемная, где я беседую с клиентами, ну и, разумеется, ванная, кухня... комната для прислуги.

— Расскажите про кухню.

— Про кухню я мало знаю. Просторная, с каменным полом. Моя экономка была ею довольна.

— А где она?

— Экономка? Сейчас там никого нет. Когда пришла война, я заколотил дом и уехал. И по счастливой случайности немцы его даже не обнаружили.

— Теперь про сад.

— На лужайку перед домом выходит небольшая терраса, и с нее открывается вид вниз до самой реки, а за речкой — деревня...

— Много вы овощей выращивали?

— И овощей, и фруктов — яблоки, сливы, грецкие орехи. И теплица есть. — Он продолжал, обращаясь не столько к Январю, сколько к самому себе. — Снизу, от деревянных ворот, дома не видно. Сначала надо подняться по длинной изогнутой аллее, вдоль нее густо растут кусты и деревья. Но потом она выводит на лужайку перед домом и здесь раздваивается: левая дорожка уходит за дом, к черному ходу, а правая — широкой дугой к парадному крыльцу. Моя мать всегда смотрела с террасы, кого Бог послал: желанного гостя или нет. Ее никто не мог застать врасплох. А раньше, до нее, еще дед так высматривал посетителей...

— Сколько лет дому? — прервал его Январь.

— Двести двадцать три, — ответил Шавель.

— Уж больно стар. Мне бы лучше что поновее. Старуха мается ревматизмом.

Они давно уже сидели, окутанные понизу темнотой, но вот и с потолка скатились последние слабые отсветы, и узники сразу, не размышляя, стали укладываться спать. Каждый, как родное чадо, встряхивал, шлепал и прижимал к себе подушку. По мнению философов, прошлое, настоящее и будущее сосуществуют, и действительно, сейчас в непроглядной тюремной тьме ожило сразу несколько прошлых жизней: по бульвару Монпарнас катил тяжелый грузовик, девушка, запрокинув голову, подставляла под поцелуй губы, в муниципальном совете происходили выборы мэра; а для троих и будущее уже присутствовало здесь непреложным фактом, свершившимся, как и факт рождения, — пятьдесят шагов по гравийной дороге и в конце кирпичная стена, вся в выбоинах и щербинах.

Шавелю же теперь, когда его больше не била истерика, эта простая, ясная дорога казалась все-таки гораздо заманчивее долгого, неведомого пути, на который он вступил.

Часть вторая

6

По аллее к дому в Сен-Жан-де-Бринаке шел человек, называвший себя Жан-Луи Шарло.

Вокруг все было такое же, как он помнил, и одновременно немного не такое, словно для него и этого дома время шло с разной скоростью. Он уехал отсюда четыре года назад, и с тех пор его время почти остановилось, а здесь оно пронеслось вперед. Сотни лет стоял этот дом, не старея, годы скользили мимо, будто тени по кирпичной стене. Благодаря старательному

уходу и своевременным омолаживающим операциям он, как следящая за собой пожилая дама, всегда выглядел превосходно; и вот теперь за четыре года все труды пошли насмарку — сквозь слои необновлявшейся косметики проступили морщины.

Гравий на аллее пророс травой, в одном месте поперек упало дерево, и хотя сучья кто-то обрубил на топливо, ствол как свалился, так и лежал красноречивым свидетельством того, что вот уже несколько лет ни одна машина не подъезжала по аллее к дому. Бородатый пришелец помнил наизусть каждый шаг и, однако же, настороженно выглядывал за каждый поворот, будто шел этой аллеей впервые. Он родился здесь; среди этих кустов играл ребенком в прятки, потом, прогуливаясь под сенью деревьев, вынашивал сладкую муку первой любви. Через десять шагов должна быть калитка, и от нее дорожка, обсаженная лавровыми кустами, ведет на огород.

Но калитки не оказалось, торчали только два столбика, как знак того, что память не обманула. Даже гвозди, которыми были раньше прибиты петли, чья-то рука аккуратно выдернула, чтобы использовать в другом месте на более насущные нужды. Он свернул с аллеи, у него еще не хватало духу сойтись лицом к лицу с домом; точно убийца, возвращающийся к месту преступления, или любовник, блуждающий там, где простился навеки с любимой, он ходил пересекающимися кругами, не решаясь пойти по прямой и прежде времени достичь цели, чтобы потом уже не к чему было стремиться.

Теплица, как видно, несколько лет стояла пустая, — он, помнится, велел старику садовнику, чтобы огород не запускал, а овощи продавал на рынке в Бринаке. Должно быть, умер старик, и в деревне не нашлось никого, кто по своему почину занял бы его место. Может быть, в деревне вообще никого не осталось. За теплицей открывался вид на уродливый красный церковный шпиль за рекой, словно восклицательный знак в небе, заключающий фразу, которую отсюда, с затоптанных, незасеянных грядок, не прочитать.

Но тут человек заметил, что не весь огород в запустении: один угол его расчищен, и там посажено немного картофеля, капуста, шпинат. Словно выделили участок для самостоятельного хозяйничанья детишкам, совсем маленький, не больше ковра. Он вспомнил, что было на этом месте в прежние годы: клубничные грядки, кусты черной смородины и малины, пахучая пряная зелень. Каменная ограда в одном месте обрушилась, а может, кто-то нарочно развалил старую кладку, чтобы проложить себе дорогу и поживиться огородным урожаем, но было это уже давно, раскатившиеся камни поросли крапивой. Стоя в проломе, он долго смотрел на то, что времени оказалось изменить не под силу: на отлогий зеленый спуск к реке и вязам. Когда-то он думал, что дом — это то, чем владеешь. Но владения человека подвержены проклятью перемен. И лишь то, чем нельзя владеть, осталось неизменным и встретило его с радушием. Этот вид не принадлежал ему, он никому не принадлежал. Это и был его дом.

Ну, вот. Больше ему тут делать нечего, надо уходить. Но если он уйдет, ему останется только утопиться в реке, и все. Деньги на исходе, а за одну неделю свободы он уже успел убедиться, что такому, как он, найти работу немислимо.

В то утро, в семь часов (пять минут восьмого по брегету мэра и без двух минут семь по будильнику), немцы пришли за Вуазеном, Ленотром и Январем. А он сидел с остальными у стены в ожидании выстрелов и, глядя на лица товарищей, переживал самые постыдные мгновения в своей жизни. Он был теперь такой же, как они: простой, бедный человек, и они стали относиться к нему как к своему и судили его по той же мерке, что и себя; судили и осуждали. Чувство стыда, которое он испытывал теперь, нищенской, понурой походкой подходя к дому, было почти таким же глубоким. Скрепя сердце он решил, что бедняга Январь может еще сослужить ему службу и после смерти.

Он подходил, а слепые окна смотрели на него, как глаза сокамерников, сидящих у стены.

Только один раз он поднял голову и сразу заметил все: рамы некрашены, в бывшем его кабинете разбито окно, перила террасы в двух местах выломаны. И тут же снова понурился и стал глядеть себе под ноги. Может быть, в доме все еще никто не живет? Но, обогнув террасу и медленно взойдя по ступеням к двери, он обнаружил те же крохотные признаки человеческого присутствия, что и в огороде. Ступеньки были безукоризненно чистые. Он поднял руку, дернул звонок и этим как бы признал свое поражение: видит Бог, он старался не возвращаться, но вот не вышло, увы.

7

Флаги победы уже сильно повыцвели от времени, когда Жан-Луи Шарло вернулся в Париж. Верх его ботинок сохранились неплохо, а вот подошвы были тоньше бумаги и черная адвокатская пара носила на себе следы многомесячного тюремного заключения. В бараке он гордился тем, что не позволил себе опуститься, но теперь беспощадное солнце щупало его вещи, точно старьевщик на барахолке, и показывало: здесь вытерто, там пуговицы не хватает, и все вообще не имеет вида. Утешало лишь то, что и сам Париж не имел никакого вида.

У Шарло в кармане лежала завернутая в газету бритва с туалетным обмылком и триста франков деньгами; и никаких документов, кроме выписки из тюремного досье, в которое немецкий офицер аккуратно занес продиктованные ему год назад неверные данные, включая фамилию Шарло. Но во Франции такая бумажка была в то время ценнее любого удостоверения личности, ведь у того, кто сотрудничал с немцами, не могло быть немецкого тюремного досье с заверенными фотографиями в фас и в профиль. Лицо, конечно, изменилось, Шарло отпустил бороду, но все-таки при ближайшем рассмотрении это было то же самое лицо. Немцы знают толк в архивном деле: фотографию на документе можно переклеить, можно сделать пластическую операцию, удалить или добавить шрамы, но вот изменить размеры черепа не так-то просто, и немцы тщательно заносили в «дело» результаты таких обмеров.

Тем не менее ни один немецкий пособник не чувствовал себя в сегодняшнем Париже более гонимым, чем Шарло, ибо у Шарло тоже было позорное прошлое. Как он мог объяснить людям, куда девалось его имущество? А может быть даже, все уже известно. Его встречали на перекрестках какие-то смутно знакомые лица и обращали в бегство из автобусов чьи-то будто бы узванные спины. Он перебрался в ту часть Парижа, где не бывал раньше. Его Париж всегда был невелик, он заключался в тесном кольце между квартирой, судом, Оперой, Западным вокзалом и двумя-тремя ресторанами; эти точки соединялись в его представлении лишь кратчайшими прямыми линиями. Шаг в сторону — и он оказывался на неведомой территории: под ногами дикими джунглями лежал метрополитен, Комба и окраинные кварталы простирались, как пустыни, и там можно было затеряться, спрятаться.

Но мало было просто затеряться, требовалось устроиться на работу. Он пережил мгновения — выпив первый стакан вина на свободе, — когда казалось, ему будет под силу все начать с нуля, снова накопить денег, и наконец в мечтах он уже видел, как откупает обратно отчий дом в Сен-Жан-де-Бринаке и счастливый ходит по комнатам... Но тут он заметил в графине с водой свое отраженное лицо, бородатое лицо Шарло. На него смотрел малодушный неудачник. Странно, подумалось ему, что одно проявление малодушия наложило такую глубокую печать, исчертило лицо бороздами, как у старого бродяги. Но у него хватило объективности возразить себе, что дело не в одном отдельном случае, к этому акту малодушия вела вся предшествующая жизнь. Так у художника на то, чтобы написать картину, уходят не два-три часа, но еще и все годы, пока он накапливал опыт, прежде чем взяться за



кисть; и то же самое с малодушным поступком. Что он был преуспевающим адвокатом — это чистое везенье, он гораздо больше получил в наследство, чем заработал сам; если бы ему самому пришлось пробиваться, думал он теперь, он никогда бы не достиг таких высот.

Он все-таки предпринял несколько попыток найти себе какой-то заработок. Сначала предложил свои услуги в качестве преподавателя на курсах французского языка. Хотя война еще и погромыживала за пределами Франции, курсы Берлица и бессчетные им подобные учреждения уже развернули широкую деятельность. Взамен туристов мирного времени появилось очень много военнослужащих-иностранцев, которые тоже жаждали обучиться французскому языку.

С ним разговаривал самодовольный тощий человек во фраке, слегка попахивающем нафталином.

— К сожалению, — сказал он, заключая беседу, — у вас недостаточно хороший выговор.

— Недостаточно хороший выговор? — изумился Шарло.

— Недостаточно хороший для наших курсов. Мы ведем обучение на самом высоком уровне. У наших преподавателей должно быть превосходнейшее, безупречнейшее парижское произношение. Весьма сожалею, мсье.

Сам он произносил слова ужасающе отчетливо — верно, привык объясняться с иностранцами — и пользовался только простейшими оборотами, как видно применяя на практике разговорный метод обучения. Взгляд его то и дело задумчиво устремлялся на стоптанные ботинки Шарло. Шарло ушел.

Что-то в облике этого человека, вероятно, напомнило ему Ленотра. Едва выйдя, он сразу подумал, что ведь может прилично зарабатывать в должности делопроизводителя — юридические познания как раз кстати, и можно будет объяснить, что он готовился к экзамену на адвоката, но не хватило средств, и вот...

По объявлению в «Фигаро»[1] он явился в контору на четвертом этаже высокого серого здания в районе бульвара Осман. Помещение словно только что расчистили после отступления врага — сор и солома сметены в углы, у мебели такой вид, словно ее недавно вернули из хранения, где она невесть как долго стояла, обитая досками. Когда кончается война, человек не сознает, насколько постарел он сам и окружающий мир, но такая вещь, как мебель или дамская шляпка, сразу напомнит о пролетевшем времени. Здесь все было из стальных труб, будто в машинном отделении парохода, но этот пароход уже много лет как сидел на мели, все трубы поржавели. Такая мебель еще в тридцать девятом году вышла из моды, а в сорок четвертом производила впечатление музейной редкости. Навстречу Шарло вышел пожилой господин. Должно быть, приобретая когда-то эту мебель, он сам был еще молод и следил за модой, хотел обставить свою контору пошикарнее. Теперь он плюхнулся на первый попавшийся трубчатый стул, будто в каком-нибудь зале ожидания, и сокрушенно сказал:

— Вы, конечно, тоже все перезабыли?

— Да нет, — ответил Шарло. — Я помню достаточно.

— Много платить мы на первых порах не сможем, — произнес пожилой господин. — Но потом, когда все снова станет на свои места... наше изделие всегда пользовалось широким спросом...

— Я готов начать с небольшого жалованья, — сказал Шарло.

— Самое главное, — продолжал рассуждать пожилой господин, — это энтузиазм. Надо верить в то, что продаешь. Ведь наше изделие зарекомендовало себя. Перед войной у нас были отличные показатели. Правда, конечно, тогда были туристские сезоны, но в Париж всегда приезжает много иностранцев. А наше изделие и провинция покупала. Я бы показал вам наши учетные книги, но они не сохранились.

Можно было подумать, что он соблазняет акционера, а не нанимает служащего.

— Я понимаю, — кивнул Шарло.

— Надо, чтобы о нашем изделии снова стало известно. Когда о нем узнают, сразу появится спрос. В конце концов, качество говорит за себя.

— Вероятно, вы правы.

— Так что, сами понимаете, — не отступался пожилой господин, — мы должны все подставить плечо... на кооперативных началах... братская выручка... ваши сбережения будут в полной сохранности. — Он обвел жестом нагромождение трубчатых кресел. — Я вам ручаюсь.

О каком изделии шла речь, Шарло так и не узнал, но на лестничной площадке одним маршем ниже стоял открытый дощатый ящик, а в нем — обложенный соломой железный настольный светильник, на редкость безобразное трехфутовое сооружение в виде Эйфелевой башни. Шнур был пропущен через шахту лифта, а лампочка ввинчена на последнем этаже. Может быть, других светильников нельзя было достать в военном Париже, но не исключено, — кто знает? — что это и было то самое изделие.

Трехсот франков в Париже надолго хватить не могло. Шарло ходил еще по одному объявлению, но там потребовали документы. Тюремные бумаги хозяина не устраивали.

— Таких за сотню франков можно купить хоть целую пачку, — сказал он и отмахнулся от сложных немецких измерений. — Не мое дело — обмерять вам голову и щупать шишки. Ступайте в ратушу и выправьте себе документы, — посоветовал он. — Вроде вы парень толковый. Я оставлю место за вами до завтрашнего обеда.

Но Шарло к нему не вернулся.

Полтора суток он ничего не ел, если не считать двух маленьких булочек. Круг замкнулся, он снова пришел к тому, с чего начал. В лучах вечернего солнца он бессильно привалился к какой-то стене, и ему даже почудилось тиканье старого брегета в жилетном кармане мэра. Столько пройдено, столько преодолено, и вот он снова у стены в конце гравийной дороги, и дальше пути нет. Приходится умирать, а ведь вполне можно было бы умереть при своих и никому не морочить голову. Он побрел в направлении Сены.

Между тем тиканье прекратилось, вместо него теперь, куда он ни сворачивал, раздавалось какое-то шарканье с пристуком. Он слышал его, как раньше слышал тиканье брегета. И понимал, что то и другое, вероятно, галлюцинация. В конце длинной безлюдной улицы поблескивала река. Он почувствовал, что задыхается, опять прислонился к стене и свесил голову, потому что река слепила глаза. Он стоял у писсуара. Шарканье с пристуком нагнало его и смолкло за спиной. Ну и что? Так же смолкли раньше часы. Не станет он обращать внимание на галлюцинации.

— Пидо, — позвал чей-то голос. — Пидо.

Он поднял голову, посмотрел вокруг — никого.

— Ведь вы Пидо, верно? — настаивал голос.

— Где вы? — спросил Шарло.

— Здесь, где же мне быть! — Голос замолчал, потом произнес чуть не в самое ухо, как внутренний голос совести: — У вас скверный вид. Хуже некуда. Я вас с трудом узнал. Скажите, кто-нибудь придет?

— Нет.

В детстве в лесу под Бринаком верилось, что из куста, из высокого соцветия, из-под древесных корней вот-вот раздастся голос, но в городе, достигнув смертного срока, уже не уверуешь в говорящие булыжники мостовой. Он опять спросил:

— Где вы? — и тут же подивился собственной тупости: из-под зеленой загородки писсуара видны были ноги — черные, в полосочку брючины юриста, или врача, или даже депутата и давно не чищенные ботинки.

— Я — мсье Каросс, Пидо.

— Да?

— Вот ведь как получается. Меня не поняли.

— Да.

— А что мне было делать? В конце-то концов, жизнь нельзя остановить. Я вел себя исключительно корректно и держался на расстоянии. Уж кому и знать, как не вам, мой бедный Пидо. Против вас, наверное, тоже выдвинуты обвинения?

— Со мной покончено.

— Мужайтесь, Пидо. Не надо падать духом. Мой троюродный кузен, который был в Лондоне, сейчас делает все возможное. Вы ведь знаете, о ком я говорю?

— Вы бы вышли оттуда, чтобы я мог вас увидеть.

— Лучше не надо, Пидо. Порознь мы еще, может быть, проскочим как-нибудь, но вместе... Это слишком рискованно. — Брючины в полосочку нервно переступили. — Кто-нибудь придет, Пидо?

— Нет.

— Послушайте, Пидо. Я попрошу вас передать от меня несколько слов мадам Каросс. Скажете ей, что я жив-здоров, поехал на юг. Постараюсь пробраться в Швейцарию, отсижусь, пока тут не уймутся. Мой бедный Пидо, вам как раз кстати будет пара сотен франков, верно?

— Да.

— Я оставляю здесь, на полке. Так вы сходите к ней, Пидо?

— Куда?

— Да по старому адресу. Вы же знаете — третий этаж. Надеюсь, старуха не облысела. Очень уж стерва гордилась своими волосами. Ну, хорошо, прощайте, и желаю удачи, Пидо.

В писсуаре что-то зашуршало, и по улице, удаляясь, снова зашаркали с приступком шаги. Шарло смотрел вслед уходящему: крупный, дородный мужчина в черном, прихрамывает, на голове — шляпа, как раз такую носил и он в незапамятные времена между судом и улицей Миромениль.

В писсуаре на полочке лежала пачка сложенных бумажек: три сотни франков. Кем бы ни был этот мсье Каросс, он обладал редкой добродетелью — как сказал, так и сделал, и даже с походом. Шарло засмеялся. Звук гулко раскатился, отдаваясь под сводами пустых железных кабинок. Прошла неделя, и он вернулся в точности к тому же, с чего начал, у него в кармане опять триста франков, как при выходе из тюрьмы. Словно он всю эту неделю прожил, питаясь воздухом, — или какая-то колдунья, с виду вроде бы добрая, а в сущности злая, подарила ему нескудеющий кошелек, но из него можно взять не больше трехсот франков. А может быть, это умерший оставил ему в наследство триста из своих даровых трехсот тысяч.

А вот проверим, подумал Шарло. Какой смысл растягивать эту сумму на неделю, чтобы только стать неделей старше и оборваннее? Был час аперитива, и впервые за все время после возвращения в Париж он сознательно ступил на свою территорию, где ему был знаком каждый поворот, каждый дом.

До этого он не отдавал себе отчета в том, как сильно изменился Париж — улица, которой раньше никогда не видел, могла испокон века быть такой вот безлюдной, — но теперь он заметил, как мало прохожих, как робко проезжают мимо бесшумные такси-велосипеды, увидел и эти выцветшие полотняные навесы, и чужие лица. Лишь кое-где еще сидели на своих местах запомнившиеся с прошлых времен незнакомцы, потягивая свой неизменный аперитив. Словно уехал из дома хозяин и это — последние редкие цветы среди сорняков в заброшенном, заросшем саду.

Все равно я сегодня умру, подумал Шарло, чего мне беспокоиться, если даже кто-нибудь меня и узнает? И, толкнув стеклянную дверь своего излюбленного кафе, он направился в тот самый угол — в конце длинного дивана под зеркалом в золоченой раме, — где было его как бы законное место.

Место оказалось занято. Там сидел американский солдат, щекастый парень с выражением грубоватого щенячьего простодушия на лице, и официант кланялся ему и улыбался, как самому давнему и почетному посетителю. Шарло сел и стал наблюдать. Это было почти как супружеская неверность. Появился метрдотель, который раньше всегда останавливался возле его столика перекинуться словом-двумя; теперь он прошел мимо, будто Шарло вообще не существовало, и тоже задержался, приветливо улыбаясь, у столика американца. Тут же обнаружилось и объяснение: янки, расплачиваясь, вытащил толстую пачку денег. Шарло вдруг понял, что раньше он тоже был обладателем толстой пачки денег, человеком, который платит. И дело вовсе не в том, что он стал невидим, просто теперь у него денег нет. Он выпил свой коньяк, заказал второй. Его долго не несли. Он рассердился и окликнул метра. Тот сделал попытку уклониться, но в конце концов вынужден был подойти.

— Итак, Жюль?

В пустых глазах мелькнуло недовольство. Называть себя по имени этот человек позволял только близким друзьям — тем, кто платит, подумал Шарло.

— Вы не помните меня, Жюль?

Тот смущенно замялся — должно быть, что-то в голосе зацепило его память. Времена наступили путаные: одни клиенты пропали, другие, которые раньше скрывались, объявились вновь, но стали неузнаваемы после заключения, а были и такие, что не прятались, но в интересах дела их лучше не приваживать.

— Мсье, кажется, давно у нас не был...

Американец громко застучал ребром монеты об стол.

— Прощу прощения, — рванулся было к его столику метр.

— Нет, нет, Жюль, не можете же вы вот так отмахнуться от старого клиента. Представьте себе, что этой бороды нет. — Он прикрыл подбородок ладонью. — Неужели не узнаете человека по фамилии Шавель, а, Жюль?

Американец опять застучал монетой, но теперь Жюль даже не посмотрел в его сторону, только сделал знак официанту, чтобы тот принял у него заказ.

— Господи, мсье Шавель, вы так изменились. Я изумлен... Я слышал, что вы...

Он явно не помнил, что именно он слышал про Шавеля. Нелегко было запомнить, кто из клиентов герой, кто предатель, а кто просто клиент.

— Немцы меня арестовали, — сказал Шавель.

— А, ну тогда понятно, — с облегчением проговорил Жюль. — Париж уже снова стал почти прежним Парижем, мсье Шавель.

— Ну, не во всем, — кивнул Шавель на свое старое место.

— О, я позабочусь, чтобы завтра оно было не занято, мсье Шавель. А как ваш дом, где бишь он у вас?

— В Бринаке. В нем сейчас жильцы.

— Не пострадал?

— Кажется, нет. Я там еще не был. Признаться по правде, Жюль, я только вчера вернулся в Париж. У меня в кармане денег едва хватит на ночлег.

— Я мог бы оказать вам временную поддержку, мсье Шавель.

— Нет-нет. Я как-нибудь устроюсь.

— По крайней мере сегодня вы должны быть нашим гостем. Еще один коньяк, мсье Шавель?

— Благодарю вас, Жюль.

«Так и есть, кошелек не оскудевает, — подумал он, — мои триста франков опять при мне».

— Вы верите в дьявола, Жюль?

— Естественно, мсье Шавель.

С безразличием отчаяния он сказал:

— Вы не слышали, Жюль, я ведь продаю Бринак.

— Хорошую цену дают, мсье Шавель?

Жюль вдруг стал ему противен. Непонятно, как можно быть таким толстокожим? Неужели у него самого нет ничего, с чем не хотелось бы расстаться и за самую хорошую цену? Такой и жизнь свою продаст. Шарло сказал:

— Очень сожалею.

— О чем, мсье Шавель?

— После всех этих лет у каждого из нас найдется о чем сожалеть, разве не так?

— Нам тут жалеть не о чем, мсье Шавель. Уверяю вас, мы вели себя исключительно корректно. Я всегда обслуживал французов в первую очередь и строго придерживался этого правила, даже если немец был генералом.

Он позавидовал Жюлю: хорошо, если имеешь возможность вести себя «корректно», сохраняя собственное достоинство ценой небольшой грубости и невнимания. Для него «корректность» означала бы смерть. Он вдруг спросил:

— Вы не знаете, с Западного вокзала уже ходят поезда?

— Редко, и все очень медленные. Топлива мало. Останавливаются на каждой станции. Иногда даже на всю ночь. Вы доберетесь до Бринака только к утру.

— Мне не к спеху.

— Они вас ждут, мсье Шавель?

— Кто?

— Ваши жильцы.

— Нет.

С непривычки коньяк хлынул по пересохшим каналам его сознания. Здесь, в знакомом кафе, где даже щербинки на зеркалах и карнизах оказались на старых местах, ему вдруг нестерпимо захотелось встать, броситься на вокзал, сесть в поезд и уехать домой, как бывало раньше, — вдруг ни с того ни с сего поддаться капризу и встретить добрый прием в конце пути. Он подумал: а что, умереть всегда успею.

8

Звонок, как и многое другое в этом доме, был старинный. Отец недолюбливал электричество и, хотя имел довольно средств, чтобы электрифицировать весь город, прожил чуть не всю жизнь с керосиновыми лампами (утверждал, что они полезнее для глаз) и с допотопными колокольчиками, висевшими на длинных металлических побегах. А сам он слишком любил старый дом, чтобы что-нибудь в нем менять: приезжая в Бринак, он словно бы забирался в полутемную, глухую пещеру, где его не мог потревожить даже сердитый телефон.

И вот теперь он услышал, как дернулась и завибрировала длинная проволока, прежде чем привести в движение колокольчик в задней комнате рядом с кухней. Наверное, если бы он был там, в доме, этот колокольчик прозвенел бы приветливо, а не потерянно и прерывисто, будто кашель в изнуренной груди... Холодный утренний ветер зашуршал кустами, пригнул и растрепал траву, выросшую на аллее, где-то стукнула доска, может быть, отстала от стенки сарая на огороде. Дверь дома внезапно распахнулась.

Открыла сестра погибшего Января. Он узнал ее по общему облику и, помня брата, сразу же домыслил подробности. Такая же светловолосая, худенькая и очень молодая, но уже ничего не боится, должно быть, это тоже семейная черта. Она смотрела на него сверху вниз, и вдруг выяснилось, что ему совершенно нечего сказать в свое оправдание, он стоял перед ней открытой страницей и ждал, чтобы она прочла сама.

— Вы хотите есть, — проговорила она, с одного взгляда, как это свойственно женщинам, прочтя всю страницу вместе со сноской в виде стоптанных ботинок. Он ответил жестом,

который можно было понять как возражение или согласие. Она сказала: — У нас в доме мало еды. Вы ведь знаете, какое сейчас положение. Проще было бы дать вам денег.

Он ответил:

— Деньги у меня есть... триста франков.

— Заходите в дом, — пригласила она. — Но постарайтесь не наследить. Я только что вымыла крыльцо.

— Я разуюсь, — кротко сказал он и вошел следом за нею в дом, ощутив сквозь носки холод паркетных плит. Внутри все немножко изменилось к худшему, видно, что домом завладели чужие: снято со стены большое зеркало и после него осталось безобразное пятно; сдвинут высокий комод; не хватает кресла; гравюра «Морской бой под Брестом» перевешена на другое место, и довольно безвкусно, как ему показалось. Кроме того, он не увидел на стене фотографии своего отца и в сердцах вдруг громко спросил:

— А где же?... — и осекся.

— Что — где?

— Ваша матушка, — договорил он.

Она обернулась и внимательно посмотрела на него, словно с первого раза чего-то не дочитала.

— Откуда вы знаете про матушку?

— Мне Январь рассказывал.

— Кто это — Январь? Я никакого Января не знаю.

— Ваш брат. Так мы называли вашего брата в тюрьме.

— Вы были с ним там?

— Да.

Ему еще предстояло узнать, что она всегда поступала немного иначе, чем от нее ожидали: он думал, что сейчас она позовет мать, но она вместо этого тронула его за рукав и попросила:

— Говорите тише.

И добавила, объясняя:

— Матушка не знает.

— О его смерти?

— Ни о чем. Она думает, что он разбогател... где-то. Иногда будто бы в Англии, иногда в Южной Америке. Говорит, я всегда знала, что сын у меня с головой. Как вас зовут?

— Шарло. Жан-Луи Шарло.

— А того вы тоже знали?

— Того?.. Ах да, знал. Мне, наверное, лучше уйти, пока не пришла ваша матушка.

Сверху, из-за поворота лестницы, раздался тонкий старческий голос:

— Тереза! Кто там у тебя?

— Человек, который знает Мишеля, — отозвалась девушка.

С лестницы спустилась тучная старуха, закутанная слой за слоем в несколько шалей, так что казалась похожей на поставленную на попа кровать; даже ноги у нее были чем-то обмотаны и шлепали, шаркали, приближаясь. Трудно было себе представить, как можно такую гору жалеть и оберегать. Разве эта обширная материнская грудь нуждается в заботе? Она ведь сама предназначена покоить и укрывать от бед.

— Ну? — спросила старуха. — Как поживает Мишель?

— Хорошо, — ответила девушка.

— Я не тебя спрашиваю. Вас. В каком виде вы оставили моего сына?

— В хорошем, — сказал ей Шарло. — Он просил, чтобы я навестил вас и посмотрел, как вы живете.

— Вот, значит, как. Мог бы, кажется, купить вам на дорогу пару ботинок, — язвительно заметила она. — Он там не наделал глупостей? Не просадил деньги?

— Да нет, что вы.

— Вот это все он купил своей старухе матери, — со слепой гордостью произнесла она. — Глупый мальчик. Мне и там было хорошо, где мы жили, в Менильмонтане. Квартира из трех комнат, по крайней мере, управляться можно. А тут поди достань прислугу. Двум-то одиноким женщинам не под силу. Денег он, конечно, нам тоже прислал, да, видно, он не понимает, что сейчас за деньги много не купишь.

— Он хочет есть, — перебила ее девушка.

— В чем же дело? — сказала старуха. — Почему ты его не накормишь? Стоит, будто нищий попрошайка. Если хочет есть, мог бы, кажется, и сказать, что хочет есть, — рассуждала она, словно его там не было.

— Я заплачу, — огрызнулся Шарло.

— Ах, он заплатит, вот как? Нельзя соваться со своими деньгами. Так не делают. Деньги не предлагают, покуда с вас не спросили.

Она была словно старая выветренная эмблема человеческой мудрости, какие встречаются в пустынях, Сфинкс, например, но только полая, и от этой необъятной внутренней пустоты невежества вся ее мудрость оказывалась какой-то сомнительной.

Слева в прихожей была дверь с разбитой ручкой, за дверью начинался длинный холодный коридор, чуть не во всю длину дома, зимой по пути из кухни все блюда успевали остынуть, и отец его собирался перестраивать, но в конце концов дом победил. И вот теперь, не подумав, он шагнул к этой двери и чуть было самостоятельно не отправился на кухню, но спохватился и сказал себе: надо быть осторожным, крайне осторожным. Он молча шел за Терезой и думал: как странно видеть молодое существо в этом доме, где ему помнились одни старые, верные, ворчливые слуги. Молодыми были только люди на портретах: мать, сфотографированная в день свадьбы, на стене в родительской спальне. Отец после сдачи адвокатского экзамена. Бабушка с первенцем на руках. Словно привел в дом молодую жену, с грустью думал он, идя по коридору следом за Терезой.

Она дала ему хлеба, и сыра, и стакан вина и села напротив за кухонный стол. Он молчал,



потому что был голоден и потому что его одолевали воспоминания. Он почти никогда не бывал в кухне с тех пор, как стал взрослым. А когда-то чуть не каждый день забегал из сада часов в одиннадцать посмотреть, не найдется ли чего перекусить, старая кухарка — опять же старая — любила его, и угощала, и дарила разные забавные вещички, он только помнил картофелину с отростками, похожую на человечка, куриную косточку в чепчике, как у старушки, баранью лопатку, которая казалась ему боевым топориком.

Девушка попросила:

— Расскажите мне о нем.

Этого он боялся и заранее вооружился подходящими лживыми фразами. Он ответил:

— Он был у нас в тюрьме душой общества, его даже охранники любили...

Она перебила:

— Я не про Мишеля... Расскажите мне про того.

— Про человека, который...

— Про Шавеля, — сказала она. — Вы что думаете, я забуду это имя? Я запомнила подпись на документах: Жан-Луи Шавель. Знаете, что я говорю себе? Что рано или поздно он придет сюда, ему нестерпимо захочется посмотреть, что случилось с его красивым домом. Тут много чужого народа бывает, голодного, вот как вы, и всякий раз, как дергается звонок, я думаю: «А вдруг это он».

— А тогда что?

— Я бы плюнула ему в лицо, — сказала она, и он только теперь заметил, что у нее красивый рот, такой же был у Января. — Это перво-наперво.

Глядя на ее рот, он проговорил:

— Но дом и вправду хорош.

— Иногда, если б не старуха, я бы, кажется, взяла и спалила его. Господи, надо же быть таким дураком! — Она кричала на Шарло, видно, в первый раз высказывая вслух, что накипело на сердце. — Неужели он думал, что это все мне дороже, чем он?

— Вы с ним близнецы? — спросил Шарло, не спуская с нее глаз.

— А знаете, ведь я в ту ночь, когда его расстреляли, почувствовала боль! Села среди ночи в постели и заплакала...

— Это было не ночью. Утром.

— Не ночью?

— Нет.

— Что же тогда это означало?

— Ничего, — ответил Шарло. Он принялся резать кусок сыра на мелкие квадратики. — Так часто бывает. Думаешь, есть какой-то смысл в том, что происходит, но потом оказывается, что все было совсем не так и никакого смысла просто нет. Просыпаешься от боли и думаешь, что это была любовь, а факты не подтверждают.

Она сказала:

— Мы так друг друга любили. У меня такое чувство, что я тоже умерла.

Он все резал и резал сыр на квадратики. И, не глядя, тихо сказал:

— На самом деле все не так. Вот увидите.

Ему хотелось убедить себя, что на нем не лежит вина за две смерти. Он был рад, что она тогда проснулась среди ночи, а не в семь часов утра.

— Вы не рассказали, каков он из себя, — напомнила она.

Он стал описывать, тщательно отбирая слова:

— Ростом немного выше меня... на дюйм примерно или даже меньше. Лицо бритое...

— Это все ничего не значит, — перебила она. — Бороду можно отрастить за неделю. Глаза какого у него цвета?

— Голубые. Но казались иногда серыми.

— Вы не можете вспомнить чего-нибудь такого, что бы его отличало? Шрам какой-нибудь?

Тут можно было бы солгать, но он не захотел.

— Нет, — ответил он. — Ничего такого я не помню. Обыкновенный человек. Как мы все.

— Я сначала думала нанять кого-нибудь из деревни, чтобы помогали по хозяйству, а заодно бы смотрели, вдруг он появится. Но им никому нельзя доверять. Они к нему хорошо относились. Наверное, потому, что знали еще ребенком. Ребенку прощаешь гадости, а потом он вырастает, но ты уже привык и не замечаешь.

Как и ее мамаша, она изрекала истины, но ей они достались не по наследству, она набралась их на улице рядом с братом, недаром в ее изречениях слышалось что-то мужское.

— А люди здесь знают о том, что он сделал?

— И знали бы, им-то что. Подумаешь, какое дело: парижанина провел. Провел — и молодец. Давай и дальше их надувай. Я, кстати, думаю, так и будет. Он ведь юрист, верно? Уж конечно, он придумал какую-нибудь уловку, как все эти документы сделать недействительными.

— Да нет, — сказал Шарло, — по-моему, он так струсил, что вообще ничего не соображал. Ведь если бы он был способен сохранить ясность мысли, он бы умер, верно?

— Ну, этот, когда соберется умирать, то, можете не сомневаться, получит сначала отпущение грехов, причастится, простит врагов своих. Пока самого дьявола не обведет вокруг пальца, он не умрет.

— Как вы его ненавидите.

— А вот я буду проклята. Потому что не прощу. И не получу перед смертью отпущения. Я думала, вы голодны, — заметила она. — А вы почти ничего не съели. Это хороший сыр.

— Мне пора уходить, — сказал он.

— Можете не торопиться. Ему хоть дали возможность повидать священника?

— Да. По-моему, дали. В соседней камере был патер, он выполнял обязанности такого рода.

— А вы куда отсюда?

— Не знаю.

— Ищете работу?

— Перестал искать.

Она сказала:

— Нам бы здесь нужен человек. Двум женщинам не под силу содержать в порядке такой дом. Да еще огород.

— Неудобно как-то.

— Как хотите. За платой дело не станет, — с горечью добавила она. — Мы богатые.

Он подумал: может быть, на неделю... пожить спокойно-дома.

А она сказала:

— Но ваша главная обязанность, за что я вам буду платить, это чтобы вы постоянно сторожили, не явится ли он.

9

Первые сутки находиться в родном доме в роли работника было непривычно и горько, но прошли еще сутки, и он привык и успокоился. Если дом дорог тебе по-настоящему, совсем не обязательно им владеть, достаточно знать, что он существует целый и невредимый, такой же, как был, — не считая перемен, привнесенных временем и обстоятельствами. Мадам Манжо и ее дочь жили в нем как временные жильцы: если снимали со стены картину, то лишь по необходимости, чтобы не надо было, например, лазить обтирать пыль, а не для того, чтобы повесить на ее место другую; они никогда бы не срубили дерева ради улучшения вида и не вздумали бы сменить обстановку в комнате в соответствии с требованиями новой моды. Они даже и на настоящих жильцов не очень-то походили, а скорее на цыган, которые узнали, что дом стоит пустой, и поселились в двух-трех комнатах, обрабатывают уголок огорода подальше от дороги и следят, чтобы не виден был дым из трубы, по которому их могли бы обнаружить.

В какой-то степени так оно и было: он выяснил, что деревенских они боятся. Раз в неделю девушка отправлялась в Бринак на рынок, пешком туда и обратно, хотя в Сен-Жане, он знал, можно было нанять лошадь с телегой; и раз в неделю старуха ходила к обедне, а дочь провожала ее до паперти и там же после службы встречала. Старуха входила в церковь, когда служба уже начиналась, и, едва только священник произносил «Ite missa»,

{Идите, служба окончена (лат.)} как раньше всех была на ногах. Так ей удавалось не сталкиваться за стенами церкви ни с кем из прихожан. Шарло это вполне устраивало. Старуха с дочерью нисколько не удивлялись, что он тоже избегает встреч с деревенскими.

Теперь по базарным дням ходил в Бринак он. Первый раз, когда он пошел, у него было такое чувство, что его на каждом шагу могут выдать знакомые предметы — даже если ни один

человек и не назовет его имени, то выдаст указатель на перекрестке; отпечатки его подошв на обочине ложились как личная подпись, а перестук досок мостового настила под каблуками звучал так привычно, словно неповторимые интонации человеческого голоса. Потом его обогнала телега из Сен-Жана, и он узнал возницу — это был местный крестьянин; мальчиком он попал под трактор и потерял правую руку, а до этого они дружили и вместе играли на лугах за Сен-Жаном, но после несчастного случая и долгого лежания в больнице между ними встали сложные чувства зависти и высокомерия, и снова встретились они уже врагами. Воспользоваться по-дуэлянтски одним оружием они не могли: против его кулаков тот мальчик пускал в ход свой острый язык, отравленный горечью физического страдания.

Пропуская телегу, Шарло спрыгнул в придорожную канаву и ладонью загородил лицо, но Рош даже не взглянул в его сторону; его черные глаза фанатика были устремлены на дорогу, крепкий обрубленный торс возвышался, как разрушенный бастион, разделяющий его и весь мир. Да и повсюду на дорогах слишком большое движение, сообразил Шарло, можно не опасаться, что привлечешь к себе внимание. Во всей Франции люди разбредались по домам — из мест, где отбывали заключение или скрывались, из чужих краев. Если бы взглянуть с высоты на маленькую, как географическая карта, Францию глазами Господа Бога, то видно было бы движение крохотных песчинок по всем прожилкам ее транспортных артерий.

Вернувшись домой, он вздохнул с облегчением: чувство было такое, будто вырвался с чужой территории, где все дико и непостижимо. Переступил порог парадной двери и по длинному коридору углубился внутрь дома, словно забираясь в глубину пещерного жилища. Тереза Манжо, наклонившись, мешала ложкой в кастрюле. Она подняла голову и сказала:

— Странно, зачем вы ходите через парадную дверь? Пользовались бы, как мы, черным ходом. Меньше мыть.

— Виноват, мадемуазель, — ответил он. — Это, наверное, потому, что в первый раз я вошел отсюда.

Она обращалась с ним не как со слугой, для нее он был тоже словно цыган, ночующий в пустом доме, куда не выгнала полиция. Одна только старуха по временам без причины впадала в апоплексический гнев и кричала, что вот вернется сын, они тогда будут жить хорошо, как полагается богатым людям, со слугами, которые настоящие слуги, а не какие-то бродяги с большой дороги... Тереза Манжо при этом отворачивалась, будто ничего не слышит, но потом бросала ему грубоватую реплику, какими обмениваются только с равными, и как бы возводила его в прежние права.

Он сказал:

— На рынке почти ничего нельзя достать. И глупо покупать овощи, когда есть такой большой огород. На будущий год вам не придется... — Он пересчитал деньги. — Я купил конины. Даже кроликов и то не было. Вот сдача, по-моему, правильно. Вы бы проверили.

— Я доверюсь вам, — сказала она.

— Матушка ваша не доверится. Я все записал. — Он протянул ей список покупок и смотрел через ее плечо, как она ставит галочки и складывает цифры.

— «Жан-Луи Шарло», — прочитала она в конце. — Странно...

И он, заглядывая ей через плечо, вдруг понял, что он наделал: поставил под счетом почти в точности такую же подпись, как стояла под дарственной.

— Что странно? — спросил он.

— Я бы поклялась, что ваш почерк мне знаком. Где-то я видела такую же подпись.

— Может быть, под моим письмом?

— Вы никаких писем нам не писали.

— Да. Это верно. — У него пересохли губы. — Тогда где же, по-вашему, вы могли ее видеть?

И целую вечность дождался, пока она ответила, не отводя глаз от бумаги.

— Понятия не имею. Это как бывает, когда попадаешь в какое-то место и кажется, что ты уже здесь был раньше. Ничего не значит, должно быть.

10

Что ни день, кто-нибудь стучался в двери, прося подаяния или работы. Люди без цели тянулись к югу и к западу, к солнцу и к морю — может быть, верили, что там, в тепле, на влажном краю французской земли, сможет просуществовать всякий. Девушка подавала обычно деньгами, а не едой (еды самим не хватало), и просители уходили по заросшей аллее вниз к реке. Все в округе жили чем Бог послал, и в большом доме тоже. Но дамы Манжо соблюдали декорум. В Париже у мадам Манжо была своя лавочка, вернее, лавочка была не своя, но товары принадлежали ей. Из года в год, с тех пор как умер муж, она старательно вела торговлю, не отпуская в кредит и сама не пользуясь кредитом и едва-едва сводя концы с концами. Когда-то муж мечтал вывести детей в люди, определил дочь на секретарские курсы обучаться машинописи, а сына — в технологический колледж; но Январь вскоре сбежал, а Терезу мать забрала, когда овдовела. По мнению мадам Манжо, все это учение было — блажь, и единственным его плодом оказалась подержанная пишущая машинка, на которой ее дочь печатала — притом скверно — письма оптовикам. Торговля Манжо не имела никакого будущего, но мадам это не тревожило: достигнув некоторого возраста, перестаешь заботиться о будущем, довольны того, что ты жив сегодня, сейчас, и каждое утро, просыпаясь, торжествуешь новую победу. К тому же был еще Мишель. Мадам Манжо свято верила в Мишеля. Кто знает, какими сказками своего детства окружила она этот таинственный отсутствующий образ. Мишель — это был принц, разъезжающий по белу свету с хрустальным башмачком в руках; свинопас, завоевывающий любовь королевской дочери; меньшей сын старушки, который убил великана. Что его просто-напросто нет в живых, ей знать было не дано. Все это Шарло усвоил постепенно, из недомолвок, из раздраженных выкриков мадам Манжо, даже из снов, которые мать и дочь рассказывали друг другу за завтраком. Не то чтобы это была правда, правда — понятие растяжимое, соседи мадам Манжо по Менильмонтану едва ли узнали бы в этой расцвеченной версии ее подлинную заурядную историю. Но вот теперь она неожиданно разбогатела — и тем самым осуществились ее сокровеннейшие мечтания; однако из сказок своего детства она также знала о заклятых кладах, обращающихся к утру в груды никчемных черепков. И в этом доме, непонятно для нее самой почему, ничто не внушало ей доверия, даже кухонный стол, даже кресло, в котором она сидела, — не то что в Менильмонтане, где она точно знала, за что заплачено, а за что — еще нет. Здесь им все досталось как будто бесплатно. Откуда ей было знать, что плата внесена полностью, но только в другом месте.

Шарло спал на верхнем этаже в лучшей из комнат для прислуги. Это была тесная мансарда со скошенным потолком, в ней стояла железная кровать и жиденький бамбуковый комод — единственная легковесная вещь в доме, где вся мебель была массивная, темная, сбита на века. Эту часть дома он знал плохо: в детстве ему запрещалось бывать на верхнем этаже по каким-то неясным материнским соображениям, связанным с гигиеной и моралью. Там,

наверху, где кончалась ковровая дорожка на лестнице, в удалении от ванной и уборной, грубые реальности жизни принимали особенно угрожающий облик. Только однажды, один-единственный раз, проник он в запретную зону: на цыпочках, неся легкий груз неполных шести лет, он приблизился к дверям своей теперешней комнаты и заглянул в щелочку. Старая служанка, которую его родители сами получили по наследству и с боязливым почтением именовали «мадам Варнье», сидела перед туалетным столиком и закалывала волосы, вернее, не закалывала, а откалывала — снимала с головы и раскладывала под зеркалом длинные светло-коричневые пряди, похожие на высушенные водоросли. Из комнаты шел сильный кислый запах. Маленький Шарло целый год потом верил, что это всегда так: если волосы длинные, значит, они отстегиваются от головы совсем.

В одну из ночей он никак не мог заснуть и, проделав в обратном направлении тайный путь своего детства, спустился в кухню — налить себе воды. Черная лестница скрипела под его шагами, но эти шаги были совсем другие, чем тогда, на пути в Бринак, они не содержали давнего смысла, точно новые иероглифы, которые все равно бы никто не мог прочесть. На втором этаже находилась его старая комната, теперь в ней никто не жил, может быть, оттого, что здесь на всем лежал слишком явный личный отпечаток. Он вошел. Все осталось точно таким же, как четыре года назад, когда он отсюда вышел в последний раз. Он выдвинул ящик комода — там, свернутые толстым кольцом, были сложены крахмальные воротнички, пожелтевшие от времени, как старый папирус. На шкафу стояла фотография его матери в серебряной рамке. Мать в закрытом платье с жестким воротником до подбородка спокойно, безмятежно созерцала неизменную картину у себя перед глазами — смерти, болезни, потери никак не отразились на голой стене, оклеенной обоями в цветочек, которые выбирала в свое время еще ее свекровь. Над одним цветком на стене чернел маленький карандашный рисунок, женское личико; когда ему было четырнадцать лет, с этим портретом для него было связано что-то важное, но теперь забытое, какая-то романтическая отроческая страсть, любовь и мука до могилы, как он тогда, наверное, думал. Он отвернулся — в дверях стояла Тереза Манжо и смотрела на него. Он увидел ее — и сразу вспомнил. Словно соединил разорванный провод и услышал забытый голос из тридцатилетней дали.

— Что вы тут делаете? — хмуро спросила она. На ней был толстый ватный халат, по-мужски перетянутый шнуром.

— Не спалось, я пошел вниз попить. И показалось, вроде крыса в комнате.

— Ну нет, здесь уже четыре года, как эта дрянь не водится.

— Почему бы вам не вынести отсюда его вещи?

Шнур ее халата бессильно волочился концом по полу.

— Тошнит прикоснуться, — ответила она. — Но я все равно вынесу. Все, до воротничков. — Она присела на кровать. Шарло было невыразимо грустно видеть, что вот и она, такая молодая и такая усталая, — не спит по ночам.

— Бедняжка, — вздохнула она.

— Может быть, лучше, если она все-таки узнает?

— Я не про матушку. Вот про нее — про эту даму на фотографии. Быть его матерью — тут особенно гордиться нечем, верно?

Впервые после возвращения домой он почувствовал себя задетым и возразил:

— По-моему, вы не правы. В конце-то концов, я ведь его знал, а вы нет. Поверьте, он был не такой уж плохой человек.

— Вот так так.

— Конечно, он струсил. Но ведь раз в жизни это с каждым случается. Большинство из нас совершит трусливый поступок и забудет. Просто у него этот единственный поступок получился... ну, как бы сказать, очень уж заметным.

Она покачала головой:

— Вы меня не убедите, что ему не повезло. Правильно вы сказали: раз в жизни это случается с каждым. И всю жизнь надо быть настороже: а вдруг сегодня? — Похоже было, что она много размышляла на эту тему и теперь просто высказывает вслух то, к чему пришла. — Когда это случается, видно, что ты за человек.

Он не мог на это ничего возразить, ему казалось, что она совершенно права. Он только спросил подавленно:

— С вами это уже было?

— Нет еще. Но будет.

— Тогда вы не знаете, что вы за человек. А вдруг вы не лучше, чем он.

Он достал один пожелтевший воротничок и нервно, беспомощно обернул вокруг запястья.

— Но он от этого не становится лучше, — сказала она. — Правда ведь? Если я убийца, разве я должна оправдывать других убийц?..

Он перебил ее:

— У вас, я вижу, на все вопросы есть ответы. Будь вы мужчиной, из вас получился бы отличный юрист. Только вам больше подходит быть прокурором, чем адвокатом.

— Я бы никогда не пошла в юристы, — серьезно возразила она. — Ведь он был юрист.

— Как вы его ненавидите.

— Я чувствую такую неотступную ненависть, день и ночь, день и ночь. Это как запах, от которого невозможно отделаться, когда где-то падаль под половицами. Я ведь теперь к обеду не хожу, вы знаете. Отвожу мамашу, а потом иду ее встречать. Она спрашивала, почему, а я тогда сказала ей, что утратила веру. Это пустяк, с кем не случается, ведь верно? Господь на такие мелочи, как утрата веры, особенно не смотрит. Просто глупость, и все, быть глупым не грешно. — Она плакала, правда, одними глазами: она держала себя в руках и только над работой слезных желез не имела власти. — Пусть бы из-за этого. Но меня ненависть не допускает. Есть такие люди, отложат свою ненависть на часок, а потом снова подбирают, лишь только шагнули за порог церкви. Я так не могу. А хотела бы. — Она прикрыла ладонями глаза, словно от стыда за физическое проявление своего горя. Моя работа, подумал он.

— Вы из тех несчастных, которые веруют, — сказал он печально.

Она встала с кровати.

— Да что разговаривать! Вот бы он сейчас оказался передо мной и чтобы у меня в руке был револьвер...

— У вас есть револьвер?

— Есть.

— А после пошли бы покаяться и жили бы счастливо?

— Может быть. Не знаю. Я так далеко не загадываю.

Он сказал:

— Страшный вы народ, добродетельные люди. Избавляетесь от своей ненависти таким же способом, как мужчины от похоти.

— Если бы это сбылось! Я бы стала лучше спать. Не была бы такая измученная и старая. — Она говорила не шутя. — Люди бы лучше ко мне относились. И я перестала бы их бояться.

Он чувствовал, что перед ним развалина, не древняя руина, подернутая благородной патиной старины, а свежая — зияющий пролом в стене, когда видны лоскутья обоев и кресло у камина между небом и землей. Он подумал: «Это нечестно. Тут нет моей вины. Я купил только одну жизнь, а не две».

— Можете взять себе эти воротнички, — сказала она. — Если хотите. Только не говорите матушке. Они вам впору?

Он ответил с привычной осмотрительностью:

— Почти.

— Сейчас принесу вам воды.

— Почему это вы будете приносить мне воду? Здесь прислуга — я.

— Не такие мы важные, чтобы держать прислугу. Мне просто хочется побродить по дому. Не спится.

Она ушла и вернулась со стаканом воды. Глядя на нее, худенькую, в толстом халате до полу, с протянутым стаканом в руке, он вдруг понял смысл ее поступка. Она рассказала ему о своей ненависти, а теперь этой маленькой услугой хотела показать, что способна и на другое. Могу быть вам другом, как бы говорила она, могу быть доброй. В эту ночь, лежа в своей постели, он почувствовал, как прежнее отчаяние поворачивается новой гранью: прожить-то, пожалуй, будет можно, а вот можно ли жить?

11

Сначала, когда он проснулся, ночной разговор помнился ему смутно, даже собственные переживания стерлись в памяти. Все словно бы было по-прежнему, никаких перемен. Но как только он коснулся ручки кухонной двери, за которой хозяйничала она, сердце сразу четко простучало по ребрам тревогу. Он пошел вон из дому, чтобы проветрить мысли, и над грядками крохотного огородика произнес вслух: «Я ее люблю», словно открывая этим бесспорным положением сложный судебный процесс, которому в обозримом будущем не предвидится конца.

Он задал себе вопрос: что отсюда следует? Его адвокатские мозги принялись распутывать нити этого юридического казуса, и он сразу приободрился. Не было в его богатой адвокатской практике такого дела, которое бы не оставляло человеку совсем никакой надежды. В конце концов, доказывал он себе, за смерть Января несет ответственность один Январь, а на мне никакой вины нет, что бы я теперь ни чувствовал — руководствоваться чувствами ни в коем



случае нельзя, иначе много ни в чем не повинных людей угодили бы под гильотину. И нет никаких законных препятствий, говорил он себе, к тому, чтобы он любил ее, и ей тоже ничто, кроме ее ненависти, не мешает полюбить его. Если бы вместо ненависти ему удалось внушить ей любовь, рассуждал он казуистически, этим он сделал бы ей добро и все искупил. Ведь в терминах ее наивной веры он вернул бы ей надежду на вечное спасение. Подобрал с земли камешек, он прицелился в дальний кочан капусты — камешек описал другу и угодил точно в цель. Шарло удовлетворенно вздохнул. Обвинение против себя самого уже приняло у него характер гражданского иска, где можно рассматривать условия компенсации. Даже непонятно, почему он ночью ощутил такое отчаяние, тут нет причины отчаиваться, говорил он себе, наоборот, есть основание для надежды. Есть ради чего жить. Но в глубине души осталась тень, точно улика, которую он утаил от суда.

За кофе с хлебом — их завтраком, который в то утро происходил раньше обычного, потому что надо было идти в Бринак на рынок, — с мадам Манжо совсем не было сладу: она смирилась с его присутствием в доме, но стала обращаться с ним так, как, по ее представлениям, обращаются со слугами важные дамы, и злилась оттого, что он ест с хозяйками за одним столом. Почему-то ей взбрело в голову, будто бы он служил у Мишеля лакеем; и она опасалась огорчить сына, когда тот в один прекрасный день вернется, своим неумением вести себя как подобает богатым. Но Шарло это не задевало, у него с Терезой Манжо была общая тайна, ему казалось, что, встречаясь взглядами, они напоминают друг другу о своей тайной близости.

Но когда они остались наедине, он только спросил:

— Может быть, купить вам что-нибудь на рынке? Для вас самой?

— Нет, — ответила она. — Мне ничего не нужно. Да и что можно найти в Бринаке?

— А почему бы вам самой не сходить? Прогулялись бы немного, полезно... Воздухом бы подышали. А то ведь вы из дому не выходите.

— Еще придет кто-нибудь, пока меня не будет.

— Скажите матушке, чтобы не отпирала. Дверь не выломают.

— А если он?

— Послушайте, — настойчивым, умоляющим голосом сказал Шарло, — вы так с ума сойдете. Что вам мерещится? Ну подумайте, ради всего святого, зачем ему возвращаться сюда и мучить себя зрелищем того, что он сам отдал в чужие руки? Вы заболаете в конце концов от своих фантазий.

И тогда она робко обнажила уголок своего страха, как ребенок обнажает наморщенный оборванный краешек переводной картинки.

— Меня не любят в деревне. Они там его любят.

— Мы же идем не в деревню.

И вдруг она уступила, уступила неожиданно и смиренно, чем застала его врасплох.

— Ну, ладно, — покорно проговорила она. — Будь по-вашему. Пошли.

От реки медленно поднимался осенний туман, дощатый настил моста чернел влагой, под ногами шуршали наметанные ветром кучи сухих листьев. На пятьдесят шагов вперед уже ничего не было видно. Они шли по дороге в Бринак вдвоем — но могло быть, что и не вдвоем, а в составе растянувшейся многолюдной процессии, только отгороженные со всех

сторон туманом, словно в отдельной комнате. Сначала они шли и молчали, только шаги их то в ногу, то вразнобой вели свой отрывочный разговор. Его ноги шагали мерно, неуклонно продвигаясь к цели, как юридические доводы; ее — то замирали, то частили, будто возгласы из публики. Он думал о том, что, в сущности, жизнь очень точно выполняет те обещания, какие давала ему когда-то, и в то же время совсем по-другому. Если бы он женился и привез жену в Сен-Жан, то мог бы вот так же идти с нею молча по дороге на рынок в такой же мягкий осенний денек. Дорога взяла немного в гору и ненадолго вывела их из тумана, справа и слева открылись серые поля, поблескивая влажными камнями, точно ледышками; взлетела, хлопая крыльями, какая-то птица; и вот они уже снова шли под уклон между двумя зыбкими стенами тумана, и его шаги возобновили свои настойчивые, неоспоримые доводы.

— Устали? — спросил он.

— Нет.

— Мне все еще странно идти по прямой, привык — то вверх, то вниз.

Она не ответила. Ее молчание было ему приятно: ничто так не сближает, как молчание, и ему верилось, что, если эта тишина между ними еще продлится, все у них будет хорошо.

Больше они не обменялись ни словом, пока не дошли почти до самого Бринака.

— Отдохнем немного перед городом, — сказал он.

Они облокотилась о чью-то ограду и постояли, давая передышку натруженным ногам. По дороге со стороны Сен-Жана со стуком катила телега. Это был Рош. Он натянул вожжи, и лошадь остановилась.

— Подвезти? — предложил Рош. За эти годы он завел привычку поворачиваться к собеседнику в профиль, пряча правый бок, и это придавало ему вид нахальный и надменный.

Тереза Манжо покачала головой.

— Вы ведь барышня Манжо? Не дело вам ходить пешком в Бринак.

— Мне захотелось прогуляться.

— А это кто? — Рош кивнул на Шарло. — Работник ваш? У нас в Сен-Жане о нем слыхали.

— Он мой друг.

— Вы бы, парижане, поостереглись, — сказал Рош. — Вы не знаете здешних краев. Сейчас здесь столько народу ходит попрошайничает, никого нельзя в дом пускать.

— Какие вы, деревенские, все сплетники, — неприязненно произнесла Тереза Манжо.

— А вы? — обратился он к Шарло. — Чего помалкиваете? Нечего сказать, что ли? Тоже парижанин?

— Можно подумать, что вы из полиции, — сказала Тереза Манжо.

— Я из Сопротивления, — ответил Рош. — Присматривать тут — моя обязанность.

— Война ведь уже кончилась, разве нет? И вам больше нечего делать.

— Как бы не так. Она здесь только еще начинается. Предъявите-ка мне лучше ваши документы, — сказал он Шарло.

— А если не предъявлю?

— Кто-нибудь из наших заглянет к вам домой.

— Дайте ему, пусть посмотрит, — сказала Тереза Манжо.

Чтобы взять у Шарло бумаги, Рошу пришлось отпустить вожжи, лошадь, почуяв волю, тронулась с места, и он сразу превратился в растерянного, беспомощного мальчика, который не умеет справиться с лошадейю.

— Ладно, — пробормотал он, — получите обратно.

И подхватил вожжи.

— Я помогу пока поддержать вашу лошадь, — предложил Шарло с нарочитой, оскорбительной любезностью.

— Вы лучше выправьте себе правильно документы, эти недействительны. — Он обернулся к Терезе Манжо: — Смотрите будьте осторожны. Тут сейчас много пришлого народа, невесть что за птицы, беглые. А этого я уже где-то видел. Могу поклясться.

— Он каждую неделю бывает в Бринаке на рынке. Вы его, наверное, там видели.

— Ну, не знаю.

Тереза сказала:

— Вы напрасно придираетесь. Это человек честный. Сидел у немцев в тюрьме. Он знал Мишеля.

— Выходит, он и Шавеля знал?

— Да.

Рош еще раз заглянул ему в лицо.

— Странно, — проговорил он. — Мне потому и показалось, что я его знаю. Он сам немного смахивает на Шавеля. Голос похож; лицо-то, конечно, совсем другое.

Шарло произнес раздельно, стараясь не сбиваться больше на предательскую привычную скороговорку:

— Теперь бы вы не сказали, что у него голос похож на мой. Он шамкает, как старик. Тяжело перенес заключение.

— Еще бы. Привык тут к легкой жизни.

— Вы, наверное, были его другом, — сказала Тереза Манжо. — В Сен-Жане все — его друзья.

— Не угадали. Кто его хорошо знал, не мог с ним дружить. Он и маленький был паскудник. И трус. Девчонок боялся. — Рош усмехнулся. — Он со мной делился. Думал, что я ему друг, пока со мной несчастье не приключилось. Потом-то он меня не выносил, потому что он себя умником считал, а я стал не глупее его. Когда лежишь в постели и месяц, и два, то либо помрешь, либо ума наберешься. Но он мне про себя такое рассказывал! Кое-что я и теперь еще помню. Тут была одна девчонка на мельнице в Бринаке, нравилась ему...

Потрясающе, чего только человек не забывает. Может быть, то личико, неумело

нарисованное на обоях?.. Он ничего не помнил. А ведь когда-то...

— Уж как он по ней обмирал, — продолжал Рош, — а подойти не решился. Лет четырнадцать ему тогда было. Или пятнадцать. Трус, каких мало.

— Почему же в деревне его все любят?

— Да не любят они его, — объяснил Рош. — Просто они вам не верят. Не поверили, что человек согласился умереть за деньги, вот как ваш брат. Считают, что без немцев тут не обошлось. — Его черные глаза фанатика впились в лицо Терезы. — А я верю. Он ради вас это сделал.

— Хорошо бы, вы и их убедили.

— А что, беспокоят они вас?

— Ну, не то чтобы беспокоили, этого нельзя сказать. Я старалась с ними по-дружески, но я не люблю, когда мне кричат всякое. Сами не решаются — детей подучивают...

— Здесь народ подозрительный.

— Если люди из Парижа, это еще не значит, что они сотрудничали с немцами.

— Вам бы надо было ко мне обратиться, — сказал Рош.

Она переглянулась с Шарло.

— Надо же, какой важный. А мы-то о нем и не слыхали.

Рош полоснул лошадь кнутом, и телега покатила прочь. На расстоянии им открылся его правый бок — подшитый выше локтя рукав, культя, торчащая, как короткая дубинка.

Шарло мягко упрекнул ее:

— Ну вот, еще одного врага нажили.

— Он не такой плохой.

Она так долго смотрела ему вслед, что Шарло ощутил первый ядовитый укол ревности.

— Смотрите остерегайтесь его.

— Говорите, как будто вы с ним знакомы. Вы ведь его не знаете? Ему показалось, что он вас где-то видел...

Он не дал ей договорить:

— Просто я знаю таких людей, и все.

12

В тот вечер, после возвращения из Бринака, Тереза Манжо вела себя как-то необычно. Она настояла на том, чтобы впредь есть в столовой, а не на кухне, где до сих пор собирали на стол всегда впопыхах, словно в ожидании настоящего хозяина, который вот-вот должен появиться и выгнать их из своего дома. Чем вызвана эта перемена, Шарло не знал, но в его

представлении она была как-то связана со встречей на дороге в Бринак. Может быть, разговор с Рошем о Шавеле придал ей уверенности в себе, она почувствовала, что есть в Сен-Жане по крайней мере один человек, расположенный к ней дружески, готовый, если что, за нее заступиться.

Шарло сказал:

— Тогда надо там подмести.

И, взяв швабру, пошел к лестнице. Но девушка остановила его:

— Мы этой комнатой ни разу не пользовались.

— Да?

— Она все время стояла запертая. Там все так шикарно. Специально, чтобы ему в ней красоваться. Представляете, как он там сидит, попивает вино и звонит слугам?..

— Картина из дешевого романа, — сказал он и ступил на лестницу.

— Вы куда?

— Убрать в столовой.

— А откуда вы знаете, где она находится?

У него ёкнуло сердце — словно шагнул, а ступеньки под ногой не оказалось. И ведь все время был так осторожен, так старался показать, что не имеет понятия о расположении комнат и чуланов.

— Действительно, о чем я думал? Вас заслушался.

Но она не удовлетворилась его объяснением и не отводила от него внимательного взгляда.

— Иногда мне кажется, — проговорила она, — что вы знаете этот дом лучше, чем я.

— Я бывал в таких домах. Они все устроены на один манер.

— А вы знаете, что думаю? Что, может быть, Шавель в тюрьме хвастался, какой у него дом, даже план рисовал, вот вы и запомнили...

— Да, он много рассказывал.

Она отперла дверь столовой, и они вместе вошли: там стояла тьма, ставни на окнах были закрыты. Он знал, где выключатель, но, соблюдая осторожность, нарочно долго шарил по стене, прежде чем зажечь свет. Это была самая большая комната в доме, посередине ее стоял длинный обеденный стол, зачехленный и похожий на катафалк, на стенах немножко вкривь висели портреты умерших Шавелей. Шавели, начиная с семнадцатого столетия, все были адвокатами, за исключением нескольких младших сыновей, которые пошли в священники; в простенке между окнами висел один епископ, и его длинный, свернутый на сторону нос следовал за ними вдоль всех стен, от портрета к портрету.

— Ну и семейка, — сказала она. — С такими предками он, может, и не виноват, что такой уродился.

Шарло, задрвав свой длинный нос, встретил взгляд длинноносого прадеда — человек в епископской мантии взирал сверху вниз на человека в зеленом фартуке. И от этого надменного, укориженного взгляда Шарло поспешил уклониться.

— Ну и семейка, — повторила девушка. — А ведь женились. И детей заводили. Можете вы представить, чтобы вот такой был влюблен?

— Это со всяким случается.

Она засмеялась. Он впервые слышал ее смех. Он жадно следил за нею — так смотрит убийца в надежде, что к его жертве вернуться признаки жизни и он окажется в конечном итоге невиновен.

Сквозь смех она спросила:

— И как они, по-вашему, это выражают? Шмыгают своими длинными носами? Проливают слезы из своих адвокатских глаз?

Он протянул руку и коснулся ее плеча:

— Я думаю, что вот так...

И в эту минуту дверной колокольчик задребезжал и залязгал на своем длинном железном стебле.

— Рош? — предположил он.

— Что ему могло понадобиться?

— За подаванием вроде бы поздно...

— Может быть, — пресекающимся голосом проговорила она, — это наконец он?

И снова они услышали, как задрожал длинный стальной побег с колокольчиком на конце.

— Надо открыть, — сказала она. — А то еще матушка услышит.

Его охватило дурное предчувствие, какое испытывает всякий, кто слышит звон в ночи. Он стал медленно спускаться по лестнице, со страхом глядя на входную дверь. За этим наследственным страхом стоял богатый личный и исторический опыт: убийства столетней давности, страшные случаи времен войн и революций... В третий раз прозвонил звонок — человек за дверью то ли очень нуждался в том, чтобы его впустили, то ли имел на это твердое право. Беглец или преследователь? Этого на слух не определишь.

Шарло накинул цепочку и приоткрыл дверь. В темноте за дверью ничего не было видно, только смутно белел круглый воротничок. Зашуршал гравий, под нажимом на дверь натянулась цепочка. Он спросил:

— Кто там?

Голосом, в котором звучало что-то неуловимо знакомое, пришелец ответил:

— Жан-Луи Шавель.

Часть третья

— Кто?

— Шавель. — Голос окреп и произнес уже более уверенно и властно: — Окройте-ка дверь, приятель, и дайте мне войти.

— Кто это? — спросила девушка; она остановилась на лестнице.

В груди у Шарло забрезжила безумная надежда, и он ответил с боязливой радостью и облегчением:

— Шавель! Говорит, что он Шавель.

Вот теперь, подумалось ему, я действительно Шарло. И пусть вся эта ненависть достанется кому-то другому...

— Впустите его, — сказала она, и он снял цепочку.

Вид у вошедшего тоже был смутно знакомый, но откуда, Шарло вспомнить не мог. Высокого роста, довольно статный, с какой-то дешевой картинностью в облике и пританцовывающей походкой... Лицо, очень бледное, выглядело запудренным, а манера говорить, когда он произнес первые слова, оказалась как у певца: так хорошо он владел интонацией. Чувствовалось, что он может исполнить любой мотив, какой ни пожелает.

— Моя уважаемая, — обратился он к Терезе, — прошу меня простить за столь несвоевременное вторжение.

Тут его взгляд скользнул по лицу Шарло, и он сразу осекся, словно тоже его узнал... или подумал, будто узнает...

— Что вам нужно? — спросила Тереза.

Он с трудом отвел глаза от Шарло и ответил:

— Кров и немного пищи.

Тереза переспросила:

— И вы действительно Шавель?

Он неопределенно кивнул:

— Да, да. Разумеется, я Шавель.

Она спустилась по ступеням и подошла к нему.

— Я знала, — проговорила она, — что в один прекрасный день вы явитесь.

Он протянул ей руку, как видно, мысленно не подготовившись к каким-либо отклонениям от общепринятых форм поведения.

— Любезнейшая, — торжественно произнес он, и тут она плюнула ему прямо в лицо. Этой минуты она ждала много месяцев, и теперь, когда дело было сделано, она, как ребенок на окончившемся празднике, горько расплакалась.

— Почему вы не уходите? — спросил Шарло.

Человек, назвавшийся Шавелем, утирал лицо рукавом.

— Не могу, — ответил он. — Меня ищут.

— Ищут? Почему?

— Теперь всякий, у кого есть враги, — коллаборационист.

— Но ведь вы сидели у немцев в тюрьме.

— А они говорят, что меня нарочно подсадили как осведомителя, — с готовностью равнодушно пояснил тот. Но удачный ответ словно вернул ему чувство собственного достоинства. Он с прежней величавостью сказал, обращаясь к Терезе: — Ну конечно же! Вы — мадемуазель Манжо. С моей стороны, я знаю, было крайне неуместно приезжать сюда, но загнанный зверь всегда возвращается в знакомое логово. Простите мне эту бестактность, мадемуазель. Я немедленно уйду.

Она сидела на нижней ступеньке, пряча лицо в ладонях.

— Да, вам лучше поскорее уйти отсюда, — сказал Шарло.

Человек обернул к нему мучнистое лицо, у него пересохли губы, и он облизнул их самым кончиком языка. Единственно неподдельным в этом человеке оставался страх. Но страх его был в узде и проглядывал только в косящем глазе и отвислой губе, как злой норов коня под умелым седоком. Он сказал:

— Правда, у меня есть извинение: я привез мадемуазель прощальный привет от брата. — Ему было явно не по себе под неожиданным удивленным взглядом Шарло, и он пробормотал: — Мне кажется, я вас знаю.

Тереза подняла голову.

— Еще бы вам не знать. Он сидел в той же тюрьме.

И снова Шарло изумился самообладанию этого человека.

— А-а, по-моему, я припоминаю, — проговорил тот. — Нас много там было.

— Он действительно Шавель? — спросила девушка.

Его страх не исчез, но был глубоко запрятан. Шарло мог только дивиться нахальству этого человека. Мучнистое лицо повернулось к нему, как голая электрическая лампочка, глаза уставились в глаза: кто кого переглядит. И Шарло первый отвел взгляд.

— Да, — ответил он. — Это Шавель. Но он сильно переменялся.

Лицо сморщилось в ликующей гримасе и тут же снова разгладилось.

— Ну? Что же просил передать мой брат? — спросила она.

— Только что он вас любил и это — лучшее, что он смог для вас сделать.

В большой прихожей было очень холодно, и гость вдруг зябко передернул плечами. Он произнес:

— Доброй ночи, мадемуазель. Простите мое вторжение. Мне следовало знать, что это



убежище для меня закрыто.

Он отвесил картинный поклон, но она не смогла его оценить — она повернулась спиной и уже скрылась за поворотом лестницы.

— Пожалуйте, мсье Шавель, — насмешливо сказал Шарло, указывая ему на дверь.

Но у того оставался еще один заряд. Он выпалил:

— Вы мошенник! Вы не сидели в тюрьме и не узнали меня. Неужели вы думаете, что я мог забыть товарища по бараку? Мне следует разоблачить вас перед вашей хозяйкой. Совершенно очевидно, что вы обманули ее и злоупотребляете ее добротой.

Шарло не перебивал, давая ему завязнуть поглубже. А потом сказал в ответ:

— Нет, я сидел в тюрьме, и я узнал вас, мсье Каросс.

— Боже правый! — произнес тот, еще пристальнее всматриваясь в лицо Шарло. — Неужели это Пидо? Не может быть, не тот голос.

— Вы уже однажды приняли меня за Пидо. Моя фамилия — Шарло. Вы второй раз оказали мне услугу, мсье Каросс.

— А вы, стало быть, хотите отплатить злом за добро и выбрасываете меня на улицу в такую ночь? А там дует восточный ветер, и провалиться мне, если не хлынул дождь. — Чем страшнее ему становилось, тем развязнее он разговаривал, развязность была для него как лекарство от нервов. Он поднял воротник пальто. — Быть освистанным в провинции, — с наигранным сокрушением произнес он, — жалкий финал блестящей карьеры. Доброй ночи, мой неблагодарный Шарло. Как это я только принял вас за беднягу Пидо?

— Вы замерзнете насмерть.

— Вполне вероятно. Замерз же Эдгар Аллан По.

— Послушайте, — сказал Шарло. — Все же я не такой неблагодарный. Можете остаться на одну ночь. Вы разуйтесь, а я хлопну дверь. — Он со стуком закрыл дверь. — Теперь идите за мной.

Но не успели они сделать и двух шагов, как с верхней площадки послышался голос девушки:

— Шарло, он ушел?

— Ушел. — Он переждал немного, а потом крикнул ей: — Пойду проверю, заперта ли задняя дверь. — И провел разутого Каросса длинным коридором на кухню, а оттуда по черной лестнице к себе в комнату.

— Можете переночевать здесь, — сказал он. — А утром я вас выпущу. Только чтобы никто вас не увидел, не то мне придется уйти вместе с вами.

Актер с удовольствием сел на кровать и вытянул ноги.

— Вы что же, тот самый Каросс? — с интересом спросил Шарло.

— Других Кароссов я не знаю, — ответил его гость. — У меня нет ни братьев, ни сестер, ни родителей. Возможно, где-нибудь в провинции проживает парочка захудалых Кароссов, и не исключено, что имеется один кузен в Лиможе. Да, кроме того, — добавил он, морщась, — жива еще моя первая жена, старая стерва.

— И вас теперь преследуют?

— В этой стране распространено нелепое пуританское убеждение, будто человек может жить хлебом единым, — проговорил мсье Каросс. — В высшей степени некатолическая мысль. Допустим, что я во время оккупации мог жить единым хлебом — даже черным хлебом, но ведь душа нуждается в неге. — Он самодовольно улыбнулся. — А негу можно было заработать только одним способом.

— Но что вас сюда пригнало?

— Полиция, мой дорогой, полиция и пылкие молодые люди с револьверами из так называемого Сопротивления. Я, собственно, имел в виду пробраться на юг, но, увы, мои черты слишком хорошо известны повсюду, кроме этого дома, — не без горечи заключил он.

— Но как вы узнали?.. Почему вы решили?..

— Даже в классической комедии, друг мой, используются примитивные трюки. — Он небрежно отряхнул колени. — Это был трюк, хотя, как вы, наверное, заметили, не из самых удачных. Но, знаете ли, у меня просто не хватило времени, а то бы я ее все-таки охмурил, ей-богу, — с сожалением произнес он.

— Все равно я не понял, как вы попали именно сюда.

— Вдохновение осенило. Зашел в одну забегаловку, это милях в шестидесяти отсюда, городишко, какой не помню, кажется, начинается на букву Б. Там сидел презабавный старичок, недавно из тюрьмы, пил с дружками. Влиятельное лицо, между прочим, местный мэр, как я понял, такой, знаете, с животиком, часы на цепочке в жилетном кармане, огромные, с сырную голову. И весь раздут от важности. Он там рассказывал всю эту историю про человека, который купил свою жизнь. «Десятый» — так он его называл, неплохое, кстати, заглавие для пьесы. За что-то он его осуждал, Бог знает за что. Ну, я и подумал, что навряд ли этот Шавель отважится вернуться в родной дом, и решил объявиться вместо него. Я бы лучше сыграл эту роль, чем он сам, сухари они, законники, ну да вы ведь его знали.

— Да, этого вы не предусмотрели.

— Кому могло прийти в голову? Редкое совпадение. А вы действительно с ним сидели? Не гастролируете в провинции, как я?

— Нет, я действительно сидел в тюрьме.

— Что же вы тогда притворились, будто узнаете меня?

Шарло ответил:

— Она постоянно думала о том, что рано или поздно Шавель здесь появится. У нее это стало болезнью, навязчивой идеей. Я подумал, что, может быть, вы ее вылечите. Не исключено, что так и вышло. А теперь я должен идти. Смотрите, ни шагу из комнаты, если не хотите, чтобы я выставил вас на дождь.

Терезу он нашел в столовой. Она разглядывала портрет его деда.

— Сходства никакого, — проговорила она. — Ни малейшего.

— Вам не кажется, что, может быть, глаза...

— Нет. Я ни в чем сходства не вижу. Вы, например, гораздо больше похожи на этот портрет, чем он.

Он спросил:

— Можно накрывать на стол?

— Нет-нет, теперь нам нельзя здесь есть, раз он вернулся.

— Вам нечего бояться. Дарственная имеет законную силу. Он вас никогда больше не потревожит. Теперь вы можете навсегда забыть о его существовании.

— Вот как раз и не могу! — горячо возразила она. — Видите, какая я трусиха. Помните, я говорила, что у каждого в жизни бывает испытание, и потом уже навсегда знаешь, чего ты стоишь. Ну, так вот, теперь-то я себе цену узнала. Мне бы надо пожать ему руку и сказать: «Милости прошу, брат мой, мы с тобой одной крови».

— Не понимаю, — сказал Шарло. — Вы его выставили вон. Что еще вы могли ему сделать?

— Застрелить! Я всегда была уверена, что застрелю его.

— Не могли же вы сходить за револьвером и потом, вернувшись, хладнокровно всадить пулю в человека.

— Отчего же? Разве он не хладнокровно отправил под пули моего брата? У него хладнокровия на целую ночь хватило, ведь верно? Вы же сами рассказывали, что расстрел был утром.

И опять он почувствовал, что должен защититься:

— Я вам не рассказывал, но один раз за ту ночь он попытался взять свое предложение обратно и отменить сделку. Только ваш брат не хотел и слышать об этом.

— Один раз, — повторила она. — Попытался один раз. И уж конечно, все старания приложил.

Ужинали, как обычно, в кухне. Мадам Манжо недовольным голосом осведомилась, что за шум был в прихожей.

— Прямо митинг какой-то, — ворчала она.

— Постучался нищий бродяга, — ответил ей Шарло. — Просился переночевать.

— Разве можно было его впускать? Стоит мне отвернуться, и в дом набивается всякая рвань. Подумать только, что скажет Мишель!

— Дальше прихожей его не пустили, мама, — сказала Тереза.

— Но я слышала, как они вдвоем шли по коридору на кухню. Ты это быть не могла. Ты была наверху.

Шарло поспешно объяснил:

— Нельзя же было выставить его на улицу, не дав даже куска хлеба. Это было бы бесчеловечно. Я выпустил его через черный ход.

Тереза отвела от него сумрачный взгляд и уставилась в мокрую тьму за окном. Слышно было, как дождь хлещет по стеклам и грохочет в водосточных трубах. В такую ночь несдобровать человеку без крова. Как же она ненавидит Шавеля, думал он. Он думал о Шавеле в третьем лице, как о ком-то другом, ему казалось, что он навсегда избавился от самого себя.

Ужин прошел в молчании. Поев, мадам Манжо грузно поднялась и удалилась спать. Она теперь ничего не делала по дому и не хотела видеть за домашней работой дочь. Ну, а чего не видела, того словно бы и не существовало. Манжо — землевладельцы, они не работают, а нанимают других работать вместо себя...

— По виду не скажешь, что он трус, — проговорила Тереза.

— Забудьте о нем.

— Этот дождь его преследует, — сказала Тереза. — Только он из дому, и сразу полило. Вот этот самый дождь. Как связующее звено.

— Можете о нем больше не думать.

— А Мишеля нет на свете. Теперь его действительно больше нет. — Она вытерла ладонью запотевшее стекло. — Он приходил и ушел, и Мишеля больше нет. Кроме него, его никто не знал.

— Я его знал.

— Да, — неопределенно согласилась она; это как бы не имело никакого значения.

— Тереза, — произнес он. Он впервые назвал ее по имени.

— Да? — отозвалась она.

Он всегда был и остался теперь человеком условностей. В его жизни имелись образцы поведения на любые случаи, они обступали его со всех сторон, как манекены в портняжной мастерской. Хотя правила поведения для осужденного на казнь ему в свое время оказались неизвестны, зато уж как делать предложение, он, дожив до средних лет, хорошо знал на основании личного опыта. Правда, тогда условия были более благоприятные. Он мог достаточно точно назвать цифру своего годового дохода и конкретно охарактеризовать свою недвижимость. А предварительно еще создать необходимый интимный настрой и при этом удостовериться, что у него с данной молодой особой полное единство взглядов по вопросам политики, религии и семейной жизни. Но теперь, отраженный в тазу для мытья посуды, на него смотрел человек без денег, без недвижимости, вообще без всякой собственности и ничего не знающий о своей избраннице, а просто испытывающий к ней слепую тягу души и тела и необыкновенную нежность и ощущающий эту новую для себя потребность оградить, защитить...

— Что? — переспросила она. Она все еще сидела, отвернувшись к окну, словно не в силах оторваться от долгих блужданий псевдо-Шавеля.

Он выпренне произнес:

— Я живу здесь уже третью неделю. Но вы обо мне ничего не знаете.

— Пустяки, — отмахнулась она.

— Вы не задумывались о том, что с вами будет, когда она умрет?

— Не знаю. Успеется еще об этом подумать. — Она с усилием отвела глаза от струящихся стекол. — Может быть, замуж выйду, — сказала она ему и улыбнулась.

Сердце у него безнадежно сжалось. В конце концов, вполне естественно предположить, что в Париже у нее кто-то остался, какой-нибудь зеленый мальчишка с ее улицы, с которым они вместе исследовали проходные дворы Менильмонта.

— За кого?

— Откуда мне знать? — легкомысленно ответила она. — Здесь, по-моему, возможности не особенно широки. Есть Рош, однорукий герой, только меня как-то не тянет замуж за мужчину не в комплекте. Ну, потом еще вы, конечно...

У него пересохло во рту. Идиотство какое-то, так волноваться, когда собрался просить дочь лавочницы... Но мгновение было уже упущено.

— А может, придется на бринакском рынке поискать, — продолжала она. — Всегда говорят: если ты богата, вокруг будут толпиться охотники до твоих денег. Что-то я их здесь не вижу.

Он снова торжественно начал:

— Тереза. — И осекся: — Кто это?

— Матушка. Кому же еще быть?

— Тереза, — раздался голос с лестничной площадки. — Тереза!

— Придется вам домывать посуду самому, — сказала Тереза. — Я слышу по голосу, она в молитвенном настроении. Теперь не ляжет спать, пока мы с ней не прочитаем по сто пятьдесят раз «Ave Maria» и «Pater noster». Доброй ночи, мсье Шарло.

Так она всегда его величала, прощаясь на исходе дня, по-видимому желая исцелить вежливостью раны, которые могла нанести за день его самолюбия. Благоприятная минута прошла, и когда теперь ее ждать опять? Он чувствовал, что сегодня она была настроена уступчиво, а завтра?..

Когда он открыл дверь своей комнаты, Каросс лежал на кровати поверх одеяла, нижняя челюсть у него слегка отвисла и изо рта неслась прерывистый храп. Щелчок замка разбудил его; не пошевелившись, он просто открыл глаза и посмотрел на Шарло со снисходительной полуулыбкой.

— Ну-с, — произнес он. — Перемыли мне косточки?

— Вы такой бывалый актер, а избрали на этот раз неподходящую роль.

— Не уверен, — отозвался Каросс. Он сел и погладил свой массивный, мясистый актерский подбородок. — Знаете что? По-моему, я поторопился уйти. В конце концов, вы не станете отрицать, что я вызвал к себе интерес. А это уже половина победы, мой милый.

— Она ненавидит Шавеля.

— Но ведь я же не настоящий Шавель. Этого не следует забывать. Я — идеальный Шавель, воссозданный средствами искусства. Я в гораздо более выигрышном положении, поскольку не скован скучной и наверняка некрасивой правдой, это очевидно. Дайте мне только время, милейший, и я заставлю ее полюбить Шавеля. Вы случайно не видели меня в роли Пьера Лушара?

— Нет.

— Великолепная роль. Я там циник, пьяница, негодяй и подлый соблазнитель. А как нравился женщинам! Этот Лушар принес мне больше побед, чем...

— Она плюнула вам в лицо.

— Милый мой, неужели вы думаете, что я не помню? Это было великолепно. Один из

ярчайших моментов в моей жизни. На сцене все же такого реализма не добьешься. И по-моему, я тоже был совсем не плох. Как я утерся рукавом, а? Какое достоинство! Держу пари, она сейчас не спит и вспоминает этот жест.

— Ну, разумеется, — сказал Шарло. — Шавелю до вас далеко.

— Все время упускаю из виду, что вы его знали. Подкинули бы какую-нибудь правдивую черточку для убедительности.

— Совершенно незачем. Завтра чуть свет вы уйдете. Спектакль окончен. А теперь будьте добры, уступите мне мою кровать.

— Здесь хватит места для двоих, — сказал актер и немного подвинулся к стене. От всех этих треволнений он снова впал в нечистоплотную вульгарность своих молодых лет и теперь упивался ею. Это был уже не давешний вальяжный пожилой Каросс, теперь в его жилы под слоями сала почти зримо просачивалась молодая кровь. Приподнявшись на локте, он хитровато произнес:

— А вы не сердитесь на мои слова?

— О чем это вы?

— Ну, мой дорогой, тут ведь и вполглаза видно, что вы терзаетесь муками нежной страсти.

Он слегка рыгнул и посмотрел на Шарло с ухмылкой.

— Не городите вздор, — сказал Шарло.

— Но это вполне естественно. Мужчина в том возрасте, когда чувства легко возбуждаются при виде молодости, живет в одном доме с достаточно привлекательной юной особой — ну, может быть, чуточку грубоватой. Прибавьте к этому, что вы долго были в тюрьме и что вы знали ее брата. Химическая формула, мой дорогой. — Он снова рыгнул. — Вот всегда со мной так, если поздно поем, — объяснил он. — Приходится отказывать себе в ужине, когда находишься в обществе молоденькой цыпочки. Ну да, хвала Богу, амурам такого рода через пару лет придет конец, а при женщинах постарше можно быть самим собой.

— Лучше бы поспали. Завтра я подниму вас рано.

— Вы небось думаете на ней жениться?

Шарло, прислонясь к умывальнику, с глухим отвращением разглядывал Каросса — но не только Каросса: в дверце зеркального шкафа отражались они оба, двое неудачников, двое пожилых мужчин, обсуждающих молодую девушку. Никогда до сих пор он не ощущал так болезненно свой возраст.

— Знаете, — сказал Каросс, — все-таки жаль, что я не могу здесь остаться. Ей-богу, я бы еще с вами потягался, даже как Жан-Луи Шавель. Вам не хватает напористости, мой милый. Надо было прямо сегодня идти к ней и победить, пользуясь тем, что я взволновал ее чувства.

— Не хочу быть вам обязан.

— Почему же? Чем я вам не угодил? Вы забываете, что я не Шавель. — Он потянулся и зевнул. — Ну ладно, не важно. — Он поудобнее устроился у стены. — Выключите свет, будьте так добры, — пробормотал он и через минуту уже спал.

Шарло присел на деревянный табурет — больше в комнате было негде примоститься. Сразу видно, что псевдо-Шавель вел себя здесь совершенно как дома. За дверью висело его

пальто, с него на пол натекла небольшая лужица. Через спинку кресла он перебросил свой пиджак. Когда Шарло попробовал прилечь, что-то твердое в отвисшем кармане актера уперлось ему в бедро. Каросс перевалился на середину, и кровать под ним затрещала. Шарло погасил лампу и опять почувствовал боком груз в кармане Каросса. В окно размеренно, как прибой, ударял дождь. Радостные надежды минувшего дня умерли; он увидел свои желания распростертыми на кровати в облике потрепанного жизнью, некрасивого человека. Нам обоим лучше будет податься отсюда, подумал он.

Он опять подвинулся и ощутил тяжесть в кармане Каросса. Актер растянулся на спине и негромко, назойливо храпел. В темноте видна была только какая-то грудa, будто сваленные как попало мешки с мукой. Шарло засунул руку к нему в карман и коснулся холодного револьверного дула. Он не удивился: мы вернулись к временам вооруженных граждан, револьвер сегодня так же уместен, как шпага триста лет назад. Но все же, подумал Шарло, ему лучше лежать в моем кармане, чем у него. Револьвер оказался маленький, старого образца; Шарло прокрутил барабан: пять патронов из шести были на месте. Шестая ячейка пустовала, но когда Шарло поднес револьвер к носу и понюхал, он ощутил отчетливый запах недавнего выстрела. На кровати возле груды мешков что-то шевельнулось. Крыса, что ли? Но это была рука Каросса, актер невнятно пробормотал какую-то фразу. Шарло разобрал одно только слово: «фатум». Должно быть, тот и во сне играл какую-то роль.

Шарло сунул револьвер к себе в карман. Потом подумал и ощупал карманы висящего пиджака. В одном оказалась пачка бумаг, перетянутая черной резинкой. В комнате было темно, он осторожно открыл дверь и вышел в коридор. Дверь он за собой не захлопнул, опасаясь шума; тихо включил свет и стал рассматривать свою случайную находку.

С первого взгляда было ясно, что бумаги принадлежат не Кароссу. Среди них был чек на дюжину рыбных ножей, выписанный на имя какого-то Тупара и оплаченный в Дижоне тридцатого марта 1939 года, — столько времени чеки обычно не хранят, для этого надо быть уж очень опасливым человеком, но Тупар, по-видимому, таким и был, вот его фотография на удостоверении личности: робкий, боязливый человек, всюду подозревающий ловушку. Сколько их повидал Шарло в суде, вечно норовящих уклониться, пойти в обход, чтобы только избежать неприятностей. Как могло случиться, что его документы оказались у Каросса? Шарло вспомнил недостающий патрон в барабане револьвера. Документы теперь ценнее денег. Старый актер взялся ради ночлега сыграть экспромтом роль Шавеля, это еще понятно, но неужели он рассчитывал выдать себя вот за этого человека? Конечно, всегда можно сказать, что минувшие пять лет изменили его до неузнаваемости. К исходу войны все наши портреты устареют: робкий подержал в руках орудие убийства, храбрый дрогнул под обстрелом.

Шарло возвратился в комнату и затолкал документы и револьвер обратно актеру в карман. У него пропала охота оставлять револьвер у себя. Дверь за ним захлопнулась с громким щелчком, похожим на внезапный выстрел. Каросс резко сел на кровати, посмотрел на Шарло широко раскрытыми глазами, испуганно спросил: «Ты кто?»- но прежде чем услышал ответ, уже снова спал крепким сном младенца. «Почему все, кто убил, не могут спать так же крепко?» — подумал Шарло.

14

— Где вы были? — спросила Тереза.

Он соскреб ножом грязь с подошв и ответил:

— Ночью мне показалось, будто кто-то ходит возле сараев. Я пошел проверить.

— Следов не нашли?

— Нет.

— Это мог быть Шавель, — сказала она. — Я долго лежала без сна, думала. Такая ужасная ночь, а мы выставили человека. Мы тут с матушкой молились. А он бродил на холоде под дождем. Сто пятьдесят раз прочли «Отче наш». И нельзя было выпустить слова о прощении, а то она заметит.

— Лучше остаться на холоде под дождем, чем быть расстрелянным.

— Не знаю. Может быть, и нет, как поглядеть. Когда я плюнула ему в лицо... — Она замолчала, и он мысленно услышал хвастливые слова актера о том, что она сейчас не спит и вспоминает его удачный жест. Мучительно было думать, что такой насквозь фальшивый человек способен так точно угадать душевное состояние другого, даже если этот другой человек — воплощенная искренность. Но не наоборот. Искренность — плохой помощник в познании ближнего.

Он сказал:

— С этим покончено. Не думайте больше о нем.

— Как вы считаете, он нашел себе пристанище? В деревне он, наверное, побоялся к кому-нибудь попроситься. Право, ничего плохого не было бы, если бы мы его пустили на одну ночь, — укорила она его. — Что же вы-то не заступились? Вам ведь его ненавидеть не за что.

— Выкиньте лучше его из головы. Вы, по-моему, не склонны были его прощать до того, как увидели.

— Кого видишь своими глазами, труднее ненавидеть, чем того, кого воображаешь.

«Если это так, — подумал он, — ну и дурак же я».

— В конце концов, — продолжала она, — между нами гораздо больше общего, чем я думала: я ведь не смогла застрелить его, когда дошло до дела. Я не выдержала испытания точно так же, как и он.

— Ну, если вы ищете такого сходства, — возразил он, — то возьмите меня, например. Уж кажется, какой неудачник, вам этого мало?

Она взглянула на него с убийственным безразличием.

— Да, — кивнула она. — Вы правы. Но он передал мне прощальные слова Мишеля.

— Это он так говорит.

— Зачем бы он стал лгать об этом, если признался в главном? И вообще, — добавила она с вопиющим простодушием, — он не производит впечатление лживого человека.

В ту ночь мадам Манжо внезапно стало плохо: за ее могучим материнским бюстом на самом деле скрывалась немощь, и под его прикрытием произошел необратимый распад. Тут уж было не до врача, да и не хватало врачей на такие отдаленные провинциальные углы, как Бринак. Гораздо настоятельнее больная нуждалась в священнике, и Шарло впервые проник в опасную зону — в Сен-Жан. Было совсем рано, люди еще не поднялись, и он никого не



встретил на пути к дому кюре. Но когда он звонил у дверей, сердце его отчаянно колотилось по ребрам. Они были близко знакомы со старым кюре, тот бывал к обеду, когда Шавель приезжал из Парижа. Конечно, теперь у него борода, и лицо за минувшие несколько лет изменилось, но старика этим не обманешь, и Шарло ждал со страхом и нетерпением: каково-то будет снова оказаться самим собой, хотя бы перед одним человеком?

Но тот, кто открыл дверь, был ему незнаком. На пороге стоял еще не старый темноволосый решительный мужчина, похожий на мастеровитого деревенского ремесленника. Он запихал в портфель Святые Дары, как слесарь запихивает в сумку инструмент, и поинтересовался:

— Подем сыро идти?

— Да.

— Тогда подождите, я надену калоши.

Шагал он очень быстро, Шарло с трудом за ним поспевал. Калоши чмокали и разбрызгивали жижу. Шарло сказал ему в спину:

— Тут раньше, кажется, был отец Рюсс.

— Умер, — отозвался молодой кюре, не оборачиваясь. — В прошлом году. — И добавил укоризненно: — Ноги промочил. — Потом обернулся к Шарло: — Вы даже не представляете себе, сколько приходских священников умирает от этого. Профессиональный риск, можно сказать.

— Говорят, хороший был человек.

— Деревенским много не надо, — высокомерно сказал преемник отца Рюсса. — Им всякий кюре хорош, если прожил на одном месте сорок лет.

Он словно причмокивал при каждом слове, но на самом деле это хлюпали его калоши.

Тереза встретила их в дверях. Держа в руке портфель, кюре поднялся вслед за нею наверх, опять как мастер со своим инструментом. Даром времени он, как видно, не тратил, потому что не прошло и десяти минут, как он уже в прихожей снова надевал калоши. Шарло в отдалении присутствовал при его деловитом, торопливом прощании.

— Если понадобится, — сказал кюре, — пришлите за мной опять, но прошу вас помнить, мадемуазель, что я, конечно, всегда к вашим услугам, однако я также к услугам всех живущих в Сен-Жане.

— Можно мне получить у вас благословение, отец?

— Разумеется.

Он припечатал воздух, словно нотариус, приклепнувший где нужно резиновую печать, и ушел. Они остались одни, и Шарло впервые ощутил, как они безмерно одиноки. Словно смерть уже наступила и им надо было дальше действовать по своему усмотрению.

Часть четвертая

Великий актер Каросс сидел на огороде под навесом и обдумывал создавшееся положение. То, что он так низко пал, его не особенно смущало. Он был демократичен, как герцог, который выше классовых различий и условностей. Каросс играл на сцене перед Георгом Пятым, королем Великобритании, перед королем Румынии Каролем[2], перед эрцгерцогом Отто, перед специальным посланником президента Соединенных Штатов, перед рейхс-маршалом Герингом и перед бесчисленными иностранными послами, включая итальянского, русского и герра Абеца. Эти великие и монаршие мужи сверкали у него в памяти, подобно драгоценностям: он чувствовал, что любого из них всегда можно будет при необходимости заложить за звонкую монету. Но все-таки он испытал минутное беспокойство, когда ранним утром в Сен-Жане увидел на стене полицейского участка рядышком два объявления — в одном его имя фигурировало в списке находящихся на свободе коллаборационистов, другое сообщало о трупе, обнаруженном в деревне более чем в пятидесяти милях отсюда. Обстоятельства преступления были полиции неизвестны, иначе бы она, конечно, объявила о розыске злодейского, убийцы. А ведь, в сущности, он действовал исключительно в целях самозащиты, чтобы этот тупоголовый маленький буржуа его не выдал. Тело он надежно, как ему казалось, упрятал в зарослях можжевельника за деревней, а бумаги забрал себе, рассчитывая, что при поверхностной невнимательной проверке они на крайний случай сойдут за его собственные. Однако теперь от них не могло быть никакого проку — один только вред, если бы их у него нашли, — поэтому он их здесь же под навесом сжег и пепел перемешал с землей в цветочном горшке.

Когда он увидел эти два объявления, то понял, что двигаться дальше бессмысленно. По крайней мере до тех пор, пока они не полиняют и не изорвутся в клочья. Необходимо залечь, а залечь можно только в одном-единственном доме. Этот Шарло уже раз солгал своей хозяйке, когда поддержал самозванство Каросса, к тому же он нарушил закон, приютив коллаборациониста; это удобный рычаг, им можно будет воспользоваться. Но теперь, сидя под навесом на тачке и углубленно обдумывая положение, Каросс воодушевился более дерзким планом: ему рисовалась совсем уж романтическая сцена, чтобы убедительнее сыграть ее, нужно быть воистину гением актерского искусства, хотя сам замысел был и не сказать чтобы оригинален, он уже когда-то приходил в голову Шекспиру.

Через дырочку в дощатой загородке Каросс видел, как Шарло пошел через поле в Сен-Жан. На рынок было рано, и притом он явно торопился. Каросс терпеливо ждал. Бортик тачки глубоко врезался в его мягкий зад. Но вот наконец он увидел, что Шарло возвращается со священником. Чуть позже священник ушел один с чемоданчиком в руке. Этот визит мог означать только одно, и творческая фантазия Каросса сразу же использовала новый штрих, внесла изменение в задуманную сцену. Но он продолжал выжидать. Если правда, что гений — это упорство, Каросс и в самом деле выказал себя гениальным актером. Наконец его терпение было вознаграждено: он увидел, что Шарло снова вышел из дома и направился в Сен-Жан. Каросс отряхнул полы пальто от прелого листа, потопал затекшей ногой и потянулся, как большой, ленивый, холощенный кот. Револьвер в брючном кармане ударил его по ляжке.

Нет на белом свете такого актера, который бы не испытывал страха при выходе на подмостки, и Каросс, идя через огород к задней двери дома, перетрусил не на шутку. Слова роли вылетели у него из головы, горло пересохло, и звонок, так нахально и требовательно прозвеневший при его первом появлении, отозвался теперь из кухни осторожным, робким побрякиванием. Руку он держал в кармане, сжимая рукоятку револьвера, залог своего мужества. Дверь отворилась, и он дрожащим голосом произнес: «П-прошу п-прощения». Но и сквозь страх он сразу сообразил, что дрожащий голос — это удачная находка, он звучит жалостно, а жалость не даст двери захлопнуться, как не дала бы нога, просунутая в дверную

щель. Девушка стояла в тени, лица ее он не видел, но, заикаясь, продолжал говорить, прислушиваясь при этом к собственному голосу и постепенно успокаиваясь. Дверь не захлопнулась, а это все, что ему пока надо.

Он говорил:

— Я успел только дойти до деревни, когда узнал про вашу матушку. Мадемуазель, я не мог не вернуться. Я знаю, вы меня ненавидите, но поверьте, у меня и в мыслях не было убить еще и вашу мать.

— Вам незачем было возвращаться. Она не знала про Мишеля.

Это звучало многообещающе. Его так и подмывало шагнуть через порог, но он сознавал, что такой шаг мог быть роковым. Как горожанин, непривычный к деревенскому безлюдью, он опасался, что с минуты на минуту у него за спиной может появиться какой-нибудь посыльный или торговец; а то еще возвратится раньше времени Шарло. Он все время прислушивался, не зашуршит ли гравий на аллее.

— Мадемуазель, — продолжал он свою вкрадчивую речь, — я никак не мог не вернуться. Вчера вы не позволили мне говорить. Я даже не до конца передал вам слова Мишеля. — Проклятье, подумал он, заврался: какие еще слова? — Он произнес их в ту ночь, когда его расстреляли, — начал он издали, но с изумлением заметил, что последняя реплика имела успех.

— В ночь, когда его расстреляли? Его расстреляли ночью?

— Да. Разумеется, ночью.

— А Шарло говорил, что утром, на следующее утро.

— О, этот человек всегда был отъявленным лжецом, — простонал Каросс.

— Но зачем ему лгать?

— Чтобы представить меня в наихудшем свете, — сразу нашелся Каросс и горестно вздохнул, гордясь своей находчивостью, которая открыла ему доступ в дом, потому что теперь Тереза Манжо посторонилась и дала ему войти. — Ведь это еще гораздо хуже — отправить человека на смерть не сгоряча, а имея целую ночь для размышления. Мало ему, что я и без того последний негодяй.

— Он сказал, что один раз вы попытались взять свое предложение назад.

— Один раз! — воскликнул Каросс. — О да, один раз. Больше я не успел, его увели. — И со слезами на глазах он повторил умоляющим голосом: — Верьте мне, мадемуазель, это произошло ночью.

— Да, я знаю, что ночью, — сказала она. — Я проснулась от боли.

— В котором часу?

— Немного за полночь.

— В это самое время! — горячо произнес он.

— Как подло с его стороны, — сказала она. — Подло лгать об этом.

— Вы не знаете, что за человек этот Шарло, мадемуазель, а мы его в тюрьме хорошо знали. Мадемуазель, я более чем заслужил ваше презрение. Ведь я купил свою жизнь, заплатив

жизнью вашего брата. Но я по крайней мере не жульничал, чтобы спасти себя.

— Не жульничали?

Он вспомнил рассказ мэра о том, как тянули жребий. И ответил:

— Мадемуазель, мы тянули жребий в алфавитном порядке. Под конец остались всего две бумажки, тянуть должны были только он и я. Одна из двух бумажек была с крестом. В камере был сквозняк, он пошевелил бумажками, и Шарло, наверное, заметил снизу, которая из них меченая. Потому что он вытянул раньше своей очереди — Шарло ведь идет после Шавеля, — и его бумажка оказалась чистая.

Она сказала то, что напрашивалось:

— Вы могли потребовать пережеребьевки.

— Мадемуазель, — ответил Каросс, — тогда я думал, что он вылез вперед по оплошности. Где дело идет о жизни и смерти, нельзя наказывать человека за маленькую оплошность.

— И, однако, вы воспользовались возможностью купить себе жизнь.

Он понимал, что играет противоречивый образ, в котором одно не вяжется с другим, тут, чтобы покорить публику, нужно подпустить сантиментов.

— Мадемуазель, — патетически произнес он, — вы многого не знаете. Этот Шарло все истолковал в дурную сторону. Ваш брат был очень болен.

— Я знаю.

Он чуть не охнул от такой удачи: что ни скажет, все в точку. И тут он немного разошелся:

— Как он любил вас! Как беспокоился о том, что с вами будет после его смерти! Бывало, покажет мне вашу фотографию...

— У него не было фотографии.

— Это меня удивляет. — На самом деле это его не удивило, а совершенно ошарашило: он уже было совсем уверился в успехе. Однако он быстро нашелся: — Он всегда показывал мне одну фотографию, это был снимок из газеты: уличная сценка, красивая девушка, наполовину скрытая в толпе. Теперь я понимаю, это были не вы, а какая-то девушка, как он считал, похожая на вас. Потому что он хранил этот обрывок, смотрел и воображал, будто... В тюрьме люди ведут себя странно, мадемуазель. Когда он попросил меня продать ему бумажку с крестом, я...

— Да нет же, — перебила его она, — нет! У вас слишком все выходит гладко. Он попросил вас?.. Не так это было.

Он сокрушенно покачал головой:

— Вам наговорили на меня, мадемуазель. Я виновен, спору нет, но разве я вернулся бы сюда, если бы был настолько виновен, как выставляет меня он?

— Это не он, не Шарло. Мне рассказывал человек, который прислал завещание и остальные документы. Мэр Буржа.

— Ни слова больше, мадемуазель. Эти двое — сообщники. Это сговор. Теперь мне все понятно.

— А мне нет. К сожалению.

— Они в тюрьме все время держались вместе, водой не разольешь. — С замиранием сердца он произнес: — А теперь прощайте, мадемуазель. И благослови вас Бог. — Слово «Dieu» он выговорил с оттяжкой, любовно, он и в самом деле его любил, как одно из самых действенных во всем арсенале сентиментального лицедейства. «Благослови Бог», «Бог свидетель», «Бог простит» — все эти велеречивые, заезженные фразы драпировались вокруг слова «Dieu» картинными складками. Каросс повернулся и замедленно шагнул к двери.

— А последние слова Мишеля?

16

Облокотясь на забор, Каросс наблюдал за маленькой фигуркой, приближавшейся через поле со стороны Сен-Жана. Он стоял в непринужденной позе человека, отдыхающего в собственном саду; один раз он даже хохотнул негромко в ответ на какую-то пришедшую ему в голову мысль, но когда фигура приблизилась настолько, что можно было безошибочно узнать в ней Шарло, непринужденность Каросса сменилась некоторой настороженностью, напряжением ума.

Шарло, помня о револьвере в его брючном кармане, остановился в отдалении, глядя ему прямо в лицо.

— Я думал, вы давно ушли.

— Я решил остаться.

— Здесь?

Каросс мягко заметил:

— В конце концов, дом-то принадлежит мне.

— Кароссу, который сотрудничал с немцами?

— Нет. Жану-Луи Шавелю, который проявил малодушие.

— Но, решив сыграть Шавеля, вы забываете две вещи.

— Мне кажется, эта роль у меня получается неплохо.

— Если вы намерены изображать Шавеля, вам нельзя будет войти в дом или вам снова плюнут в лицо.

— А во-вторых?

— Все это давно уже не принадлежит Шавелю.

Каросс опять хохотнул и оторвался от забора, не вынимая руки из кармана с револьвером — «на всякий случай». Он сказал:

— У меня имеется на это два ответа, милейший.

Потрясенный такой самоуверенностью, Шарло крикнул ему:

— Перестаньте паясничать!

— Видите ли, — мягко возразил Каросс, — мне без особого труда удалось уверить ее в правильности моей версии.

— Версии чего?

— Того, что произошло в тюрьме. Понимаете, я там не присутствовал, поэтому мне проще добиться правдоподобия. Словом, я прощен, мой дорогой Шарло, вы же, напротив, заклеены — простите мою улыбку, ведь я-то знаю, какая это вопиющая несправедливость, — заклеены как лжец. — Он весело и звонко захохотал, как будто ожидая, что его противник оценит с эстетической точки зрения всю комедийность ситуации. — Вам, Шарло, надлежит убраться вон. И притом немедленно, сию же минуту. Она на вас страшно зла. Но я уговорил ее выплатить вам триста франков жалованья. Итого, вы мне должны шестьсот, любезнейший. — Он даже сделал вид, что протягивает за ними левую руку.

— А вас она оставляет? — спросил Шарло, держась все так же в отдалении.

— Что же ей еще делать? Представьте, она даже не слыхала о декрете от семнадцатого числа — впрочем, и вы, вероятно, тоже? Ну конечно, вы ведь газет здесь не видите. По этому декрету все сделки о передаче недвижимости, заключенные в период немецкой оккупации, объявляются недействительными в случае опротестования одной из сторон. Вы что же, и вправду об этом не задумывались? Хотя меня и самого осенило только сегодня утром.

Шарло смотрел на него с ужасом. У него на глазах старый актер Каросс, обрюзглый и отвратительный, как свинья, превратился в Каросса идеального — надменный, плотоядный, он стоял, непринужденно привалясь к земной оси, и предлагал ему все царства мира в виде отчего дома и шести акров собственной земли. Все это он может получить, если пожелает, — это или же свои прежние неразменные триста франков. С утра он чувствовал близость сверхъестественного — умирала старуха, и сверхъестественный мир приблизился вплотную, в дом явился Бог в портфеле кюре, а где Бог, там и Враг, он — тень Божества, горькое доказательство бытия Божия. Снова раздался дурацкий смешок актера, но Шарло слышал за ним идеальный сатанинский хохот, самодовольный, панибратский, приглашающий.

— Ручаюсь, что Шавель на это и рассчитывал, когда подписывал дарственную. Вот хитрый дьявол! — Каросс со смаком захихикал. — Сегодня девятнадцатое. Теперь его долго ждать не придется, увидите.

Пошлые слова Каросса не доходили до Шарло, он слышал за ними Дьяволу похвалу себе, словно новобранцу: «Молодчина, Шавель!»

Его захлестнула волна счастья — он вернулся домой, отчий дом опять принадлежит ему!

Он сказал:

— Какой прок вам дальше прикидываться Шавелем, Каросс? Сами же вы говорите, что он не сегодня-завтра будет дома.

— Ей-богу, ты мне нравишься, старина, — ответил Каросс. — Ты и вправду похож на добряка Пидо. Вот что я тебе скажу: если у меня выгорит одно дельце, всегда можешь рассчитывать на тыщонку-другую.

Трава, на которой они стояли, была его травой, и он смотрел на нее с любовью; надо будет выкосить ее до наступления зимы, а уж на следующий год он возьмется за сад по-настоящему... Снизу от реки тянулись две цепочки следов: узкие — от его ботинок и широкие — от калош кюре. Этим путем в дом вошел Бог, и вдруг зримый мир затянулся,

затуманился, а когда снова оказался в фокусе, он с прежней отчетливостью увидел Каросса, жирного и наглого, и ясно представил себе, что надо делать. Декрет от семнадцатого числа. Даже дары Дьявола — тоже дары Бога. Что Дьявол ни преподнесет, все Бог дарует нам великое право отвергнуть.

Он спросил еще раз:

— Какой прок, Каросс?

— Ну как же, — ответил Каросс. — Для человека в моем положении и на один день пристанище — уже выигрыш. Скоро люди снова возьмутся за ум, придут к власти те, кто надо. Тут только затаиться и выждать. — Но он не утерпел и похвастался: — Это еще что, мой милый. Вот если я с ней обвенчаюсь до появления Шавеля, то-то будет триумф! Думаешь, слабо? Но я ведь не кто-нибудь, а сам Каросс. Помнишь, в «Ричарде III»? «Возможно ль ту, что ненавидит, обольстить?»[3] Ответ: разумеется, да. Да-да, Шарло, да!

Врага надо хорошо знать. Шарло в третий раз спросил:

— Но зачем? Что в этом проку?

— Мне нужны деньги, милейший. Не может быть, чтобы Шавель отказался отвалить кусок. Это бы уж ни в какие ворота, братца-то он перехитрил и на смерть отправил.

— И ты думаешь, я это допущу? Сам же вчера сказал, что я люблю ее.

— А-а, ты про это, — отмахнулся Каросс. — Любишь, но не себе же во вред. Мы с тобой старые, мой милый, для самоотверженной любви. Подумай-ка: если вернется Шавель, ты не получишь ничего, если же моя возьмет, ты знаешь, я человек щедрый. — Это была правда, щедрость составляла неотъемлемую часть его вульгарности. — И потом, теперь ничего уж не поделаешь, ты же наврал ей, что я — Шавель.

— Ты забываешь, что я знаю, кто ты на самом деле: Каросс-коллаборационист. И убийца.

Правая рука в кармане ожила, один палец передвинулся к предохранителю.

— По-твоему, я так опасен?

— Да. — Шарло следил за его рукой. — И потом, вот еще что: я знаю, где находится Шавель.

— Где же?

— Можно сказать, уже здесь. И это еще не все. Посмотри вон туда, через поле. Видишь церковь?

— Конечно.

— Видишь за церковью склон, немного вправо, разделенный на участки?

— Да.

— На верхнем участке справа работает человек.

— Ну и что же?

— Отсюда его не узнать, но я знаю, кто это. Это фермер по фамилии Рош, руководитель Сопrotивления в Сен-Жане.

— И что?

— А если я сейчас спущусь к мосту, и подымусь туда, и расскажу ему, что в большом доме находится Каросс, и не просто Каросс, а к тому же еще и убийца человека по фамилии Тупар?

Одно мгновение казалось, что Каросс выстрелит, — на таком открытом месте это был бы акт отчаянья: звук выстрела разнесся бы по всей округе. Но вместо этого Каросс улыбнулся.

— Друг мой, — произнес он, — да ведь мы с тобой связаны одной веревочкой.

— Значит, ты не будешь возражать, чтобы я вместе с тобой вошел в дом? — Шарло медленно приблизился к нему, как подходят к цепной собаке.

— Я-то нет, но хозяйка может быть против.

— Хозяйка, как я понял, прислушается к твоему совету.

Каросс внезапно выдернул из кармана правую руку и жизнерадостно шлепнул Шарло по спине.

— Bravo, bravo, — проговорил он. — Я тебя недооценил. Будем работать на пару. Ты мне по душе, приятель. Немного изобретательности — и мы с тобой не только денежки к рукам приберем, но и девку поделим.

Он взял Шарло под руку и ласково поволок в дом.

Один раз Шарло оглянулся туда, где на склоне виднелась фигурка Роша. Он вспомнил, как они с ним дружили, до того как увечье отравило язык Роша горечью. Маленький Рош спиной к ним шагал за плугом.

Каросс стиснул ему правый локоть.

— Если этот Шавель действительно уже едет, — сказал он, — мы будем обороняться, ты и я. В случае чего, у меня есть револьвер. — Он снова сжал ему локоть. — Смотри не забывай об этом, договорились?

— Да.

— Надо будет тебе сразу извиниться перед ней за то, что ты ей наврал. Она на тебя очень в претензии.

— Наврал?

— Ну да, что будто бы ее брата расстреляли утром.

Отраженное от окна солнце ударило ему прямо в глаза; опустив голову, он думал: «Что мне делать? Что я делаю?»

17

Мадам Манжо умерла ночью. Снова был приглашен кюре, и Шарло из своей комнаты слышал внизу звуки смерти: шаги, звяканье стакана, журчанье льющейся из крана воды, разговор шепотом. Дверь в его комнату открылась — заглянул Каросс. Он перебрался, как он выразился, в собственную спальню, но пока в доме чужие, предпочитал не мозолить глаза. Он прошептал:



— Слава Богу, уже, можно сказать, все. Меня прямо оторопь берет.

Смерть — это не личное дело умирающего: не просто последний вздох — и конец, только шепот, звон стакана, скрип половиц, шум льющейся в раковину воды. Смерть была как срочная операция без ассистентов или как роды, когда каждую минуту готов услышать крик новорожденного; но слышишь в конце концов всего-навсего мертвую тишину: завернут кран, стакан больше не звенит и не скрипят под ногами половицы.

Каросс удовлетворенно вздохнул:

— Свершилось.

Оба прислушались, как два заговорщика. Каросс зашептал:

— Сейчас решающий момент. Она не знает, что делать. Ей нельзя здесь жить одной.

— Я должен пойти проводить патера, — сказал Шарло.

Кюре в прихожей надевал калоши. По пути домой он коротко спросил:

— Теперь вы уедете?

— Вероятно.

— Либо вам надо уехать, либо мадемуазель Манжо должна будет пригласить из деревни компаньонку.

Шарло с раздражением подумал, что кюре считает мораль главным законом человеческого поведения, и даже не мораль, а приличия. Он сказал:

— Мадемуазель Манжо сама это решит.

Они остановились на краю деревни. Кюре произнес:

— Мадемуазель Манжо молода и легко поддается влиянию. Она очень простодушна и совсем не знает жизни.

На сером фоне утренней зари он возвышался как черный восклицательный знак, выражающий безграничное высокомерие и апломб.

— Я бы этого не сказал. Она повидала жизнь в Париже. Она ведь не в деревне выросла, — язвительно заметил Шарло.

— Для познания жизни место жительства не имеет значения, — возразил кюре. — Один человек среди пустыни — этого уже довольно, если обучен наблюдать или имеешь дар наблюдательности. У нее нет этого дара.

— По-моему, за годы городского детства она набралась своеобразной житейской мудрости.

— А вы не задумывались над тем, можно ли эту житейскую мудрость приравнять к настоящему жизненному опыту?

— Нет.

— Сообразительность еще не заменяет опыта, а неопытность часто кажется сообразительностью..

— Чего вы хотите? Предостеречь меня?

— Вы образованный человек, мсье, и вы не будете утверждать, что это не мое дело. Дело это мое, вы сами знаете. Но вы, наверное, считаете, раз я говорю, что либо вы должны уехать, либо мадемуазель Манжо должна пригласить компаньонку, значит, я озабочен внешними приличиями. Но это не забота о приличиях, мсье, а знание человеческой природы, которое поневоле приобретаешь, когда день за днем сидишь и слушаешь, что рассказывают люди о своих поступках и побуждениях. Мадемуазель Манжо сейчас очутилась в такой ситуации, когда женщина вполне может совершить неразумный шаг. Все эмоции имеют общую природу. Людям известно, что в смятении плоти содержится печаль, но они не знают, что и в печали есть смятение плоти. Смотрите не воспользуйтесь этим, мсье.

Куранты на убогой церковной башенке пробили половину седьмого — час, когда он тогда в тюрьме сделал единственную попытку взять свое предложение обратно; час, когда стали видны в полутьме бессонные глаза Января. Он сказал священнику:

— Верьте мне, отец мой. Я желаю мадемуазель Манжо только добра.

И, повернувшись, торопливо зашагал к дому. Был час, когда все наконец видится ясно...

Внизу в доме было темно, но на площадке лестницы горел свет. Шарло вошел так тихо, что его не заметили. Он и она стояли на лестнице, как два актера перед кинокамерой, готовые сыграть сцену по знаку режиссера. Печаль в смятении плоти и смятение плоти в печали, сказал кюре. Они изображали вторую половину этой истины. И что-то такое уже было сказано или сделано, отчего на щеке у мужчины пролегла борозда досады, а девушка подалась к нему в слезах.

— Отпустили бы вы меня, — умоляя, произнесла она.

— Мадемуазель! — воскликнул он ей в ответ. — Вы одиноки, вы остались одна на всем свете. Но теперь вы больше не будете страдать от одиночества. Вы ненавидели меня — это прошло, все прошло. Больше не будет у вас ни забот, ни тревог...

Как умело он ведет игру, подумал Шарло, этот престарелый попрыгун, он предлагает то, что людям сейчас нужнее любви, — покой. А слова лились и лились, как вода, как воды Леты.

— Я так устала.

— Тереза, теперь вы сможете отдохнуть.

Он продвинул ладонь по перилам и прикрыл ее руку своей, она не сбросила ее.

— Если бы только можно было кому-то довериться, — произнесла она. — Я думала, что могу доверять Шарло, а он солгал мне про Мишеля.

— Мне ты можешь доверять, — сказал Каросс. — Я признался в самом плохом. Открыл тебе, кто я.

— Да, — согласилась она. — Это правда.

Он пододвинулся к ней еще ближе. Невероятно, думал Шарло, как можно не чувствовать этой фальши, бьющей в нос, точно запах серы? Но Тереза даже не попыталась уклониться. Она качнулась к нему в объятия, закрыв глаза, как самоубийца. Каросс из-за ее плеча вдруг увидел внизу Шарло, ухмыльнулся, торжествуя, и заговорщицки подмигнул.

— Мадемуазель Манжо, — внятно проговорил Шарло.

Девушка отодвинулась от Каросса и смущенно посмотрела вниз. И ему вдруг стало до очевидности ясно, как она молода и как они оба стары. Он больше не испытывал к ней

влечения, а лишь одну безмерную нежность. Лампа на площадке потускнела в сером свете наступающего дня, и Тереза на лестнице казалась маленькой бледной девочкой, которой засидевшиеся в доме гости помешали вовремя лечь спать.

— Я не знала, что вы здесь, — пробормотала она. — Вас так долго не было...

Каросс следил за ним исподлобья, правую руку, сняв с плеча Терезы, он опустил в карман. Но проговорил при этом самым дружелюбным тоном:

— А, Шарло! Ну как, милейший, проводили кюре?

— Я не Шарло, — сказал снизу Шарло, обращая свои слова только к Терезе. — Меня зовут Жан-Луи Шавель.

18

— Обезумел, что ли? — грубо крикнул Каросс.

Но Шавель продолжал спокойно объяснять Терезе:

— Этот человек — актер по фамилии Каросс. Вы, должно быть, о нем слышали. Его разыскивает полиция как коллаборациониста и убийцу.

— С ума сошел.

— Не понимаю, — сказала она и отвела со лба влажную прядь волос. — Столько лжи; кто из вас лжет, я не знаю. Почему же вы тогда сказали, что узнаете его?

— Да, вот ответьте нам! — торжествующе выкрикнул Каросс.

— Я боялся признаться вам, кто я, потому что знал, как вы меня ненавидите. Когда он появился, я подумал, что смогу навсегда отказаться от себя и вся ненависть достанется ему.

— Ай-ай-ай, какой лжец, а? — с издевкой сказал Каросс, перегнувшись через перила. Он и она стояли наверху бок о бок, и у Шавеля вдруг мелькнула ужасная мысль: что, если уже поздно, что, если это уже не просто рожденное горем смятение плоти, о котором говорил священник, а настоящая любовь, готовая принять мошенника Каросса, как и труса Шавеля? Теперь ему больше ничего не нужно было от жизни, только бы возвести между ним и ею несокрушимую преграду — любой ценой, подумал он, любой ценой.

Каросс сказал:

— Забирайте свою постель и топайте вон отсюда. В вас здесь больше не нуждаются.

— Этот дом принадлежит мадемуазель Манжо. Пусть она сама распорядится.

— Надо же, каков жулик. — Каросс покачал головой и взял девушку под руку. — Вчера подходит ко мне и говорит, что на самом деле этот дом по закону — мой, какой-то там, не знаю, вышел декрет, отменяющий якобы все сделки, заключенные при оккупации. Как будто я когда-нибудь воспользовался бы такой низкой уловкой.

Шавель сказал:

— Когда я мальчиком жил в этом доме, у нас была одна игра, мы играли в нее с другом,

который жил за рекой.

— Что он такое городит?

— Минуту терпения. Вам это будет небезынтересно. Я брал вот такой фонарик, или свечку, или в солнечный день — зеркальце и слал ему вот отсюда, с порога, сигналы. Иногда вот так. Это означало: «Выйти не могу».

Каросс встревоженно поинтересовался:

— А теперь что вы передаете?

— Этот сигнал всегда означал: «На помощь, напали дикие индейцы».

— Боже мой, — проговорила девушка. — Я ничего не понимаю в ваших разговорах.

— Друг и теперь живет на том берегу, пусть он теперь уже мне и не друг. В это время он выгоняет коров. Он увидит вспышку моего фонарика и поймет, что Шавель вернулся. На помощь, напали дикие индейцы. И, кроме него, никто этого не разгадает.

Он видел, что рука Каросса в кармане напряглась. Разоблачить его как лжеца — этого мало. Он еще может как-нибудь картинно вывернуться. Преграда должна быть несокрушимой.

Тереза спросила:

— То есть, если он придет сюда, тем самым подтвердится, что вы — Шавель?

— Он не придет, — буркнул Каросс.

— Не придет — найдутся другие доказательства.

— Кто он, этот ваш друг? — спросила Тереза, и он почувствовал, что она уже наполовину поверила ему.

— Фермер Рош, руководитель местного Сопротивления.

— Но ведь он вас уже видел, на пути в Брикак, — возразила девушка.

— Он не присматривался. Я сильно изменился, мадемуазель. — Он снова стал в дверях с фонариком в руке. — А сигналов он не мог не заметить. Он сейчас на скотном дворе или в поле.

— А ну бросай фонарик! — вдруг заорал Каросс. То была победа: актер скинул маску, у него, как на допросе, блестели на лбу капли пота.

Шавель, скосив глаза на его правый карман, отрицательно покачал головой и напрягся в ожидании боли.

— Бросай, говорю!

— Но почему?

— Мадемуазель, — неожиданно искренне сказал Каросс, — каждый человек вправе бороться за свою жизнь. Велите ему бросить фонарик, или же я стреляю.

— Значит, вы действительно убийца?

— Мадемуазель, — ответил он с беспардонной искренностью, — это же война. — Он

попятился от нее вдоль перил и, вынув револьвер, навел его сперва на Шавеля, потом на Терезу, черное дуло соединило их одной пунктирной линией. — Бросай фонарь.

Куранты на деревенской церкви начали бить семь часов. Шавель, опустив погашенный фонарик, считал удары, это был час гаревой дороги и кирпичной стены, час, когда принял за него смерть тот, другой. Столько приложено стараний, и затем только, чтобы оттянуть неизбежное. Каросс, неверно истолковав его замешательство, снова почувствовал себя хозяином положения и приказал:

— Так. Теперь брось фонарь и шаг в сторону от двери.

Но Шавель, вскинув над головой руку с фонариком, снова включил его и погасил, включил и погасил.

Каросс выстрелил два раза почти без перерыва. Первым выстрелом он впопыхах угодил в картину на стене — посыпалось разбитое стекло; от второго фонарик покатился по полу и замер, проложив к порогу яркую дорожку света. Лицо Шавеля исказилось от боли. Его, как ударом кулака, отбросило к стене. Но острая боль тут же прошла, когда-то от аппендицита было гораздо больнее. Когда он поднял голову, Каросс уже исчез. Тереза стояла перед ним.

Она спросила:

— Вы ранены?

— Нет, — ответил он. — посмотрите на картину: он промахнулся.

Второй выстрел раздался сразу за первым, она его не различила. Теперь надо было удалить ее, прежде чем начнется уродство. Он с трудом сделал несколько шагов и опустился в кресло. Через несколько минут оно промокнет насквозь. Он произнес:

— Ну, вот и все. Теперь он не осмелится возвратиться.

Она спросила:

— Вы действительно Шавель?

— Да.

— Но про сигнал это ведь тоже была ложь, да? Вы все время сигналили по-разному.

— Да, тоже ложь. Я добивался, чтобы он выстрелил. Теперь уж он не вернется, он думает, что убил меня, как... этого... — Фамилия убитого никак не вспоминалась. В прихожей, несмотря на раннее утро, стояла невыносимая жара; со лба у него, как ртуть, скатывались капли пота. Он сказал: — Он будет уходить в противоположную сторону от Сен-Жана. А вы скорее ступайте туда и обратитесь за помощью к кюре. И Рош вам поможет. Не забудьте: Каросс, актер.

Она сказала:

— По-моему, вы ранены.

— Да нет же. Просто задело рикошетом от стены. Только и всего. Легкий шок. Принесите мне карандаш и бумагу. Я запишу свои показания, пока вы вызовете полицию. — Она выполнила его просьбу и опять остановилась над ним растерянная и обеспокоенная. Он боялся потерять сознание, пока она в доме. Он ласково спросил: — Ну, теперь все в порядке? Ненависть прошла?

— Да.

— Ну и хорошо, — проговорил он. — Слава Богу. — От его любви тоже не осталось и следа, влечение утратило смысл, сохранились только жалость, нежность и сострадание, какое испытываешь к несчастью совсем постороннего человека. — Теперь у тебя все будет хорошо, — сказал он ей. — Ну, давай беги, — нетерпеливо, как ребенку, велел он.

— А вы как, ничего? — с тревогой спросила она.

— Ничего, ничего.

Как только она ушла, он принялся писать, он хотел, чтобы не к чему было придраться, его адвокатский ум требовал аккуратного подведения итогов. Он, правда, не знал точной формулировки нового декрета, но вряд ли его дарственная подлежит отмене без опротестования одной из сторон. То, что он писал сейчас: «Завещаю все, чем владел в момент моей кончины...» — должно было только удостоверить, что у него не было намерения опротестовывать; сама по себе эта бумага не имела законной силы, ведь у него не было свидетелей. Кровь из раны на животе уже стекала по ноге. Хорошо, что Тереза ничего этого не видит. Кровь холодила кожу, как вода. Он бросил взгляд вокруг: в распахнутую дверь струился свет с полей. Умереть у себя дома и одному — в этом было что-то правильное: в час смерти владеешь только тем, что может охватить взгляд. Бедный Январь, мелькнула мысль, и его дорога, засыпанная черной гарью... Он начал подписывать свое имя, но не успел — рана его разверзлась: струя, поток, река; широкий разлив покоя.

На пол рядом с креслом упал лист бумаги, исписанный неразборчивыми строчками. Он так и не узнал, что вместо подписи под ними стояло только: «Жан-Луи Ша...», а это одинаково означало и «Шарло» и «Шавель». Высший суд освободил его от угрызений. Даже придиричивая адвокатская совесть почилла в мире.

## Комментарии

Повесть Грэма Грина «Десятый» вышла в Лондоне в 1985 году, но написана была сорока годами раньше, и история ее создания, особенно публикации, достаточно любопытна. В 1983 году писатель получил письмо от неизвестного ему лица, извещавшего его, что голливудская кинокомпания «Метро Голдвин Майер», кстати, в свое время поставившая «Комедиантов», продает американским издателям долгие годы хранившуюся в ее архиве рукопись романа Грина.

Писатель не придавал значения этому сообщению, поскольку решил, что речь идет о двустороннем наброске, сделанном им в конце войны совместно с другом Беном Гетцем, представителем компании «Метро Голдвин Майер» в Лондоне, с которой у Грина был заключен контракт. Этот контракт, по словам писателя совершенно «рабский», был подписан им в 1944 году в страхе перед финансовыми затруднениями — в конце войны писатель собирался уйти с государственной службы, а за счет литературных гонораров существовать было трудно (что показала не очень-то бойкая распродажа «Брайтонского леденца» и «Силы и славы»).

В годы сотрудничества с американской кинокомпанией Грин и написал «Десятого» (дословно: «Десятого человека»), предоставив, по условиям договора, все права на него «Метро Голдвин Майер», и потом настолько забыл об этой странице своего творчества, что даже использовал сходное название для своей новой повести, над которой начал работать и которую озаглавил «Третий человек». Каково же было удивление писателя, когда некий

Энтони Блонд, купивший права на книгу Грина, прислал ему из США для возможной доработки машинописную копию «Десятого» (который понравился Грину гораздо больше, чем «Третий человек»!) и предложил опубликовать его в том же лондонском издательстве, с которым Грин в то время сотрудничал. Так «Десятый» был напечатан фирмой «Бодлей хед» при участии Энтони Блонда через сорок лет после его создания.

На этом, вспоминая в предисловии к повести Грин, сюрпризы не кончились. Очень скоро в парижской квартире он совершенно случайно обнаружил в шкафу дневник, который вел в 1937–1938 годах, и под датой 26 декабря 1937 года прочитал свою запись о том, что обсуждал в тот день с представителем американской фирмы содержание двух будущих кинофильмов. В одном из них десять заключенных в стране с диктаторским режимом, схожим с тем, что был в Испании, тянут жребий. Длинная спичка, означающая смерть, достается богатому человеку. В обмен на спасение он предлагает все свое состояние, и кто-то из заключенных ради блага семьи соглашается на это. После освобождения из тюрьмы бывший богач навещает тех, кто получил его состояние. Видимо, этот замысел был писателем напрочь забыт, но ушел в подсознание и через несколько лет реализовался в «Десятом», действие которого перенесено во Францию.

Термин «повесть» по отношению к «Десятому», конечно, условен. Он указывает лишь на то, что в отличие от романа перед нами произведение значительно меньшего объема. Жанр повести, получивший широкое развитие прежде всего в русской литературе, предполагает стихию рассказывания, изложения какой-либо истории. У Грина же (вспомним, что первоначальный замысел был нацелен на создание фильма) очевидна ориентация на «показ», на драматическое «действие», которое разыгрывается на двух сценических площадках: в тюрьме и родовом доме Шавеля, куда он приходит под чужим именем Шарло. Населенный воспоминаниями героя дом, уже несущий печать чужой для Шавеля-Шарло жизни, также становится своеобразным и очень активным участником действия, таким же, как страдающая ненавистью Тереза, ее глуповатая мать, наглый Каросс и, конечно, Шавель, чья душа мечется между прошлым и настоящим, страшится будущего и живет надеждой.

Развертывая перед читателем морально-психологическую драму, Грин, как всегда, придает ей и внешнюю напряженность, вводя неожиданные повороты действия, соединяя обыденность с исключительными ситуациями, создавая атмосферу кошмара (когда Каросс почти преуспевает в своих доказательствах, что он — Шавель). Напряженность действия отражает в то же время и духовную эволюцию героя, который из человека, охваченного лишь животным страхом смерти, превращается в человека, способного к самоотверженности, жертвенности, прошедшего путь от эгоистической сосредоточенности на собственной судьбе до «жалости, нежности, сострадания, какое испытываешь к несчастью совсем постороннего человека».

Вот почему, как бы ни была грустна эта повесть-драма, с какой бы настойчивостью ни утверждалась в ней мысль о неотвратимости смерти, от которой нельзя откупиться, последняя, завершающая сцена, когда умирающий Шавель пишет дарственную Терезе, оставляет ощущение света, надежды, веры в человека.

2

Георг Пятый (1865–1936) — английский король с 1910 г.

Кароль II (1893–1953) — король Румынии в 1930–1940 гг.

3

«Возможно ль ту, что ненавидит, обольстить?» — Слова Ричарда III в одноименной хронике Шекспира.